

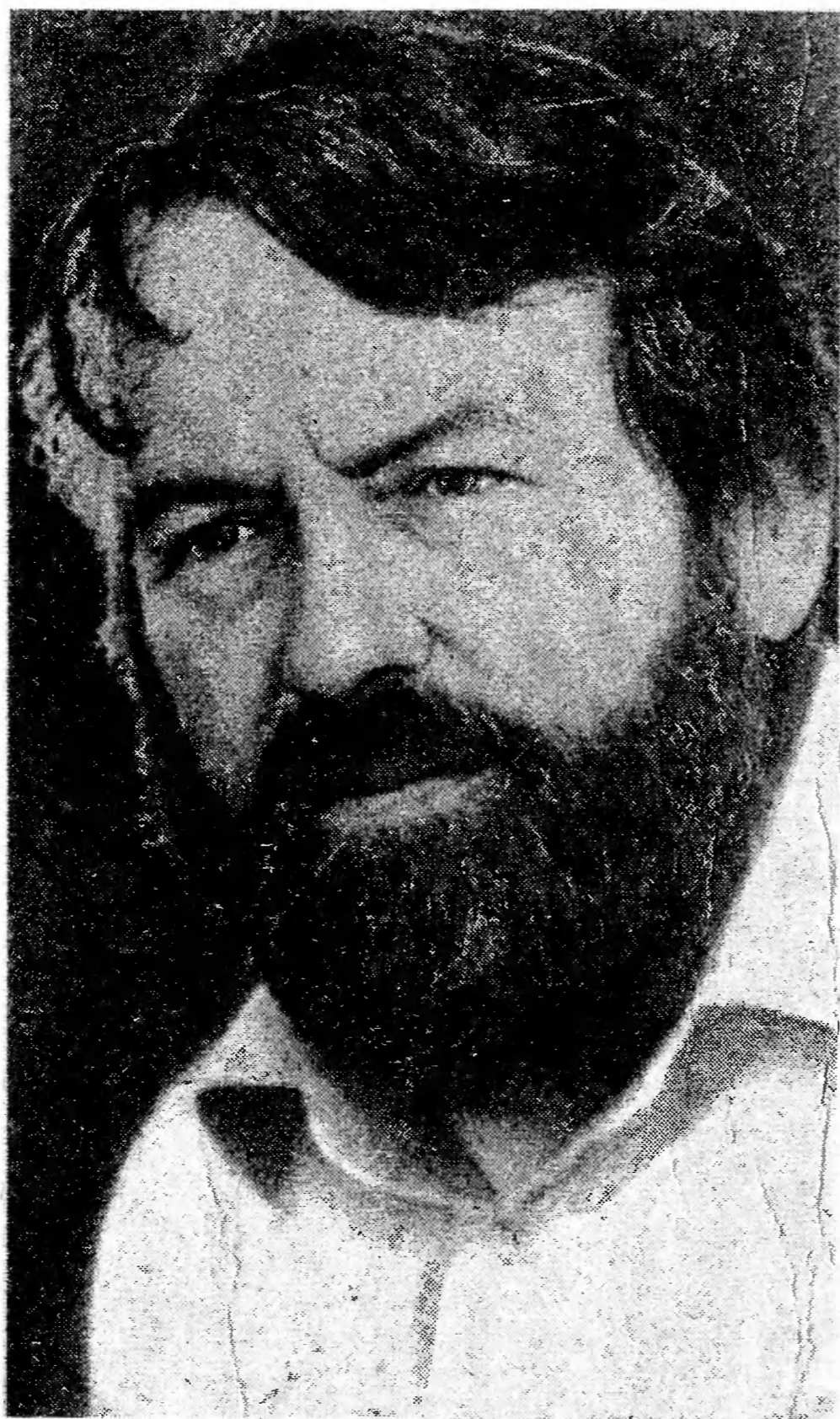
ISSN 0131-6044

РОМАН-5 ГАЗЕТА

(1155) · 1991

Джон Фаулз
ПОДРУГА
ФРАНЦУЗСКОГО
ЛЕЙТЕНАНТА





Известный английский прозаик Джон Фаулз родился в 1926 г. в провинциальном городке Ли-он-Си (графство Эссекс) в семье приходского священника.

Окончив частную школу, служил в морской пехоте, затем продолжил образование в Оксфордском университете, где изучал французский язык и литературу. Несколько лет занимался преподаванием — работал во Франции, на греческом острове Спетсаи, а с 1953 г. в Лондоне.

В конце 50-х годов вышла книга его стихов, в 1964 г. — сборник афоризмов и миниатюрных философских эссе «Аристос». Первый роман — «Коллекционер» — увидел свет в 1963 г., за ним последовали романы «Маг» (1966), «Подруга французского лейтенанта» (1969), переведенный почти на три десятка языков, книга новелл и повестей «Башня из черного дерева» (1974), «Дэниэл Мартин» (1977), «Мантисса» (1982) и «Опарыш» (1985).

С конца 60-х годов Д. Фаулз живет в небольшом английском городке Лайм-Риджисе.

РОМАН-5

НАРОДНЫЙ
ЖУРНАЛ

МОСКВА

ГАЗЕТА

(1155) · 1991

Основана в 1927 г

Джон Фаулз ПОДРУГА ФРАНЦУЗСКОГО ЛЕЙТЕНАНТА

Роман

Всякая эмансипация состоит в том, что она возвращает человеческий мир, человеческие отношения к самому человеку.

К. Маркс. К еврейскому вопросу (1844)

Глядя в пенную воду,
Завороженно, одна,
Дни напролет у моря
Молча стояла она,
В погоду и в непогоду,
С вечной печалью во взоре,
Словно найти свободу
Чаяла в синем просторе,
Морю навеки верна.

Томас Гарди. Загадка

Восточный ветер несноснее всех других на заливе Лайм (залив Лайм — это самый глубокий вырез в нижней части ноги, которую Англия вытянула на юго-запад), и человек любопытный мог бы сразу сделать несколько вполне обоснованных предположений насчет пары, которая одним студеным ветреным утром в конце марта 1867 года вышла прогуляться на мол Лайм-Риджиса — маленького, но древнего городка, давшего свое имя заливу.

Мол Кобб уже добрых семьсот лет навлекает на себя презрение, которое люди обыкновенно питают к предметам, слишком хорошо им знакомым, и коренные жители Лайма видят в нем всего лишь старую серую стену, длинной клешней уходящую в море. И в самом деле, вследствие того, что этот крохотный Пирей расположен на порядочном расстоянии от своих микроскопических Афин, то есть от самого города, жители как бы повернулись к нему спиной. Конечно, суммы, которые они веками расходовали на его ремонт, вполне оправдывают некоторую досаду. Однако на взгляд человека, не обремененного высокими налогами, но зато более любознательного, Кобб, несомненно, самое красивое береговое укрепление на юге

© Фаулз Джон, 1969.

Перевод с английского: главы 1—30 переведены М. Беккер, главы 31—61 и стихи переведены И. Комаровой. Примечания к тексту, кроме оговоренных особо авторских, принадлежат М. Беккер.

Англии. И не только потому, что он, как пишут путеводители; овеян дыханием семи веков английской истории, что отсюда вышли в море корабли навстречу Армаде, что возле него высадился на берег Монмут... а в конце концов просто потому, что это великолепное произведение народного искусства.

Примитивный и вместе с тем замысловатый, слоноподобный, но изящный, он, как скульптура Генри Мура или Микеланджело, поражает легкостью плавных форм и объемов; это промытая и просоленная морем каменная громада словом, если можно так выразиться, масса в чистом виде. Я преувеличиваю? Возможно, но меня легко проверить — ведь с того года, о котором я пишу, Кобб почти не изменился, а вот город Лайм изменился, и если сегодня смотреть на него с мола, проверка ничего вам не даст.

Но если бы вы повернулись к северу и посмотрели на берег в 1867 году, как это сделал молодой человек, который в тот день прогуливался здесь со своею дамой, вашему взору открылась бы на редкость гармоничная картина. Там, где Кобб возвращается обратно к берегу, притулилось десятка два живописных домиков и маленькая верфь, в которой стоял на стапелях похожий на ковчег остов люггера. В полумиле к востоку, на фоне поросших травой склонов, виднелись тростниковые и шиферные крыши самого Лайма, города, который пережил свой расцвет в средние века и с тех пор постоянно клонился к упадку. В сторону запада, над усыпанным галькой берегом, откуда Монмут пустился в свою идиотскую авантюру, круто вздымались мрачные серые скалы, известные в округе под названием Вэрские утесы. Выше и дальше, скрытые густым лесом, уступами громоздились все новые и новые скалы. Именно отсюда Кобб больше всего производит впечатление последней преграды на пути эрозии, разбедающей западный берег. И это тоже можно проверить. Если не считать нескольких жалких прибрежных лачуг, ныне, как и тогда, в той стороне не видно ни единого строения.

Местный соглядатай (а таковой на самом деле существовал) мог поэтому заключить, что упомянутые двое люди не здешние, ценители красоты и что какой-то там пронизывающий ветер не помешает им полюбоваться Коббом. Правда, наведя свою подзорную трубу поточнее, он мог бы заподозрить, что прогулка вдвоем интересует их гораздо больше, чем архитектура приморских укреплений, и уж наверняка обратил бы внимание на их изысканную наружность.

Молодая дама была одета по последней моде — ведь около 1867 года подул и другой ветер: начался бунт против кринолинов и огромных шляп. Глаз наблюдателя мог бы рассмотреть в подзорную трубу пурпурно-красную юбку, почти вызывающе узкую и такую короткую, что из-под темно-зеленого пальто выглядывали ножки в белых чулках и черных ботинках, которые дерзко торчавшую на подхваченной сеткой прическе плоскую круглую шляпку, украшенную пучком перьев белой цапли (шляпы такого фасона лаймские модницы рискнут надеть не раньше, чем через год), тогда как рослый молодой человек был одет в безупречное серое пальто и держал в руке цилиндр. Он решительно

укоротил свои бакенбарды, ибо законодатели английской мужской моды уже двумя годами раньше объявили длинные бакенбарды несколько вульгарными, то есть смешными на взгляд иностранца. Цвета одежды молодой дамы сегодня показались бы нам просто кричащими, но в те дни весь мир еще захлебывался от восторга по поводу изобретения анилиновых красителей. И в виде компенсации за предписанное ему благонравие прекрасный пол требовал от красок не скромности, а яркости и блеска.

Но больше всего озадачила бы наблюдателя третья фигура на дальнем конце этого мрачного изогнутого мола. Фигура эта опиралась на торчащий кверху ствол старинной пушки, который служил причальной тумбой. Она была в черном. Ветер развеивал ее одежду, но она стояла неподвижно и все смотрела и смотрела в открытое море, напоминая скорее живой памятник погибшим в морской пучине, некий мифический персонаж, нежели обязательную принадлежность ничтожной провинциальной повседневности.

2

В том (1851) году в Англии на 8 155 000 женщин от десяти лет и старше приходилось 7 600 000 мужчин такого же возраста. Из этого со всей очевидностью следует, что, если, согласно общепринятому мнению, судьба назначила викторианской девушке быть женою и матерью, мужчин никак не могло бы хватить на всех.

Э. Ройстон Пайк.

Человеческие документы викторианского золотого века

Распушу на рассвете серебряный парус,
Понесет меня ветер по буйной волне,
А зазноба моя, что любить обещалась,
Пусть поплачет по мне, пусть поплачет по мне.

Английская народная песня

Дорогая Тина, мы отдали дань Нептуну. Надеюсь, он нас простит, если мы теперь повернемся к нему спиной.

— Вы не очень галантны.

Как прикажете это понимать?

— Я думала, вы захотите, не нарушая приличий, воспользоваться возможностью подольше подержать меня под руку.

— До чего же мы стали шепетильны.

— Мы теперь не в Лондоне.

Да, скорее на Северном полюсе.

— Я хочу дойти до конца мола.

Молодой человек, бросив в сторону суши взгляд, исполненный столь горького отчаяния, словно он навеки ее покидал, снова повернулся к морю, и парочка продолжала свой путь по Коббу.

И еще я хочу знать, что произошло между вами и папой в прошлый четверг.

— Ваша тетушка уже выудила из меня все подробности этого приятного вечера.

Девушка остановилась и посмотрела ему в глаза.

— Чарльз! Послушайте, Чарльз! Вы можете разговаривать подобным образом с кем угодно, но только не со мной. От меня вы так легко не отвяжетесь. Я очень привязчива.

— Вот и прекрасно, дорогая, скоро благодаря священным узам брака вы сможете всегда держать меня на привязи.

— Приберегите эти сомнительные остроты для своего клуба. Она с напускной строгостью повлекла его за собой.— Я получила письмо.

— А-а. Я этого опасался. От вашей матушки?

— Я знаю, что после обеда что-то случилось...

Прежде чем Чарльз ответил, они прошли еще несколько шагов; он было намеревался ответить серьезно, но потом передумал.

— Должен признаться, что мы с вашим почтенным родителем несколько разошлись во мнениях по одному философскому вопросу.

— Это очень дурно с вашей стороны.

— А я полагал, что это очень честно с моей стороны.

— О чем же вы говорили?

— Ваш батюшка взял на себя смелость утверждать, что мистера Дарвина следует выставить на всеобщее обозрение в зверинце. В клетке для обезьян. Я пытался разъяснить ему некоторые научные положения, лежащие в основе дарвинизма. Мне это не удалось. Et voilà tout¹

— Но как вы могли? Вы же знаете папины взгляды!

— Я вел себя в высшей степени почтительно.

— То есть в высшей степени отвратительно!

— Он сказал, что не позволит своей дочери выйти замуж за человека, который считает, что его дед был обезьяной. Но мне кажется, по здравом размышлении он примет в расчет, что в моем случае обезьяна была титулованной.

Не останавливаясь, она взглянула на него и тут же отвернула голову характерным плавным движением, которым обыкновенно хотела выразить тревогу, а сейчас речь зашла как раз о том, что, по ее мнению, больше всего препятствовало их помолвке. Отец ее был очень богат, но дед был простой торговец сукном, тогда как дед Чарльза был баронет. Чарльз улыбнулся и пожал ручку в перчатке, продевая под его левую руку.

— Дорогая, ведь мы с вами все это давно уладили. Весьма похвально, что вы почитаете своего батюшку. Но ведь я женюсь не на нем. И вы забываете, что я ученый. Во всяком случае, автор ученого труда. А если вы будете так улыбаться, я посвящу всю свою жизнь не вам, а окаменелостям.

Я не собираюсь ревновать вас к окаменелостям. — Она сделала выразительную паузу. — Тем более что вы уже давно топчете их ногами и даже не соизволили этого заметить.

Он быстро взглянул вниз и стремительно опустился на колени. Мол Кобб частично вымощен богатой окаменелостями породой.

— Боже милосердный, вы только взгляните! *Certhidium portlandicum*. Этот камень — наверняка оолит из Портленда!

— К пожизненной каторге в каменоломнях коего я вас приговорю, если вы сейчас же не встанете. — Он с улыбкой повинился. — Ну разве не любезно с моей стороны привести вас сюда? Смотрите! — Она подвела

его к краю вала, где несколько плоских камней, воткнутых в стену, образовали грубые ступени, спускавшиеся под углом к нижнему ярусу мола. — Это те самые ступени, с которых упала Луиза Масгроув в «Убеждении» Джейн Остин.

Как романтично!

— Да, джентльмены были романтиками... в те времена.

— А теперь стали учеными? Хотите, предпримем этот опасный спуск?

— На обратном пути.

Они снова пошли вперед. И только тогда он обратил внимание на фигуру на конце Кобба или по крайней мере понял, к какому полу она принадлежит.

— Господи, я думал, что это рыбак. Но ведь это женщина?

Эрнестина прищурилась -- ее серые, ее прелестные глаза были близоруки, и она смогла различить только темное бесформенное пятно.

— Женщина? Молодая?

— Так далеко не разобрать.

— Я догадываюсь, кто это. Это, должно быть, несчастная Трагедия.

Трагедия?

— Это ее прозвище. Одно из прозвищ.

Есть и другие?

— Рыбаки называют ее неприличным словом.

— Милая Тина, вы, разумеется, можете...

Они называют ее... любовницей французского лейтенанта.

— Вот как. И ее подвергли столь жестокому остракизму, что она вынуждена стоять здесь с утра до вечера?

Она... она немножко не в своем уме. Пойдемте обратно. Я не хочу к ней подходить.

Они остановились. Чарльз рассматривал черную фигуру.

Вы меня заинтриговали. Кто этот французский лейтенант?

— Говорят, это человек, который...

— Которого она полюбила?

— Хуже.

— И он ее оставил? С ребенком?

Нет. Ребенка, по-моему, нет. И вообще все это сплетни.

— Что же она тут делает?

— Говорят, она ждет, что он вернется.

— Но... разве у нее нет близких?

Она в услужении у старой миссис Поултни. Когда мы бываем там, она не выходит. Но она там живет. Пожалуйста, пойдемте обратно. Я ее не заметила.

Чарльз улыбнулся.

Если она на вас нападет, я брошусь вам на помощь и тем докажу свою галантность. Пойдемте.

Они приблизились к женщине у нушечного ствола. Она стояла с непокрытой головой и держала в руке капор. Тугой узел ее волос был спрятан под высокий воротник черного пальто — весьма странного покроя, напоминавшего скорее мужской редингот, нежели дамскую верхнюю одежду из тех, что носили последние сорок лет. Она тоже обходилась без кринолина, но,

¹ Вот и все (фр.).

очевидно, из безразличия, а отнюдь не из желания следовать новейшей лондонской моде. Чарльз громко произнес какие-то незначущие слова, чтобы предупредить женщину об их приближении, но она не обернулась. Они прошли еще несколько шагов и вскоре увидели ее профиль и взгляд, словно ружье нацеленный на далекий горизонт. Резкий порыв ветра заставил Чарльза поддержать Эрнестину за талию, а женщину — еще крепче ухватиться за тумбу. Сам не зная почему — быть может, желая просто показать Эрнестине, что он не робкого десятка, — Чарльз, как только ветер немного утих, шагнул вперед.

— Любезнейшая, ваше пребывание здесь весьма рискованно. Стоит ветру усилиться...

Она обернулась и посмотрела на него, или — как показалось Чарльзу — сквозь него. От этой первой встречи в памяти его сохранилось не столько то, что было написано на ее лице, сколько то, чего он совсем не ожидал в нем увидеть, ибо в те времена считалось, что женщине пристала скромность, застенчивость и покорность. Чарльз тотчас почувствовал себя так, словно вторгся в чужие владения, словно Кобб принадлежал этой женщине, а вовсе не древнему городу Лайму. Лицо ее нельзя было назвать миловидным, как лицо Эрнестины. Не было оно и красивым по эстетическим меркам и вкусам какой бы то ни было эпохи. Но это было лицо незабываемое, трагическое. Скорбь изливалась из него так же естественно, незамутненно и бесконечно, как вода из лесного родника. В нем не было ни фальши, ни лицемерия, ни истеричности, ни притворства, а главное — ни малейшего признака безумия. Безумие было в пустом море, в пустом горизонте; в этой беспричинной скорби, словно родник сам по себе был чем-то вполне естественным, а неестественным было лишь то, что он изливался в пустыне.

Позже Чарльз снова и снова мысленно сравнивал этот взгляд с клинком; а такое сравнение подразумевает не только свойство самого предмета, но и производимое им действие. В это короткое мгновение он почувствовал себя поверженным врагом и одновременно предателем, по заслугам униженным.

Женщина не произнесла ни слова. Ее ответный взгляд длился не более двух-трех секунд, затем она снова обратила взор к югу. Эрнестина потянула Чарльза за рукав, и он отвернулся, с улыбкой пожав плечами. Когда они подошли к берегу, он заметил:

— Жаль, что вы раскрыли мне эти неприглядные факты. В этом беда провинциальной жизни. Все всех знают, и нет никаких тайн. Ничего романтического.

— А еще ученый! И говорит, что презирает романы, — подразнила его Эрнестина.

3

Но еще важнее то соображение, что все главнейшие черты организации всякого живого существа определяются наследственностью: отсюда вытекает, что, хотя каждое живое существо, несомненно, прекрасно приспособлено к занимаемому им месту в природе, тем не менее многие организмы не имеют в настоящее время достаточно близкого и непосредственного отношения к современным жизненным условиям.

Ч. Дарвин. Происхождение видов (1859)

Из всех десятилетий нашей истории умный человек выбрал бы для своей молодости пятидесятые годы XIX века.

Дж. М. Янг. Портрет эпохи

Возвратившись после завтрака к себе в гостиницу «Белый Лев», Чарльз принялся рассматривать в зеркале свое лицо. Мысли его были слишком туманны, чтобы их можно было описать. Однако в них несомненно присутствовало нечто таинственное, некое смутное чувство поражения — оно относилось вовсе не к происшествию на Коббе, а скорее к каким-то банальностям, которые он произнес за завтраком у тетушки Трэнтер, к каким-то умолчаниям, к которым он прибегнул; к размышлениям о том, действительно ли интерес к палеонтологии — достойное приложение его природных способностей; о том, сможет ли Эрнестина когда-нибудь понять его так же, как он понимает ее; к неопределенному ощущению бесцельности существования, которое — как он в конце концов заключил — объяснялось, возможно, всего лишь тем, что впереди его ждал долгий и теперь уже несомненно дождливый день. Ведь шел только 1867 год. Чарльзу было всего только тридцать два года от роду. И он всегда ставил перед жизнью слишком много вопросов.

Хотя Чарльзу и нравилось считать себя ученым молодым человеком и он бы, наверное, не слишком удивился, если бы из будущего до него дошла весть об аэроплане, реактивном двигателе, телевидении и радаре, его, несомненно, поразил бы изменившийся подход к самому времени. Мы считаем великим бедствием своего века недостаток времени; именно это наше убеждение, а вовсе не бескорыстная любовь к науке и уж, конечно, не мудрость заставляют нас тратить столь непомерную долю изобретательности и государственного бюджета на поиски ускоренных способов производить те или иные действия — словно конечная цель человечества не наивысшая гуманность, а молниеносная скорость. Но для Чарльза, так же как для большинства его современников, равных ему по положению в обществе, жизнь шла безусловно в темпе адажио. Задача состояла не в том, чтобы сжать до предела все намеченные дела, а в том, чтобы их растянуть и тем заполнить бесконечные анфилады досуга.

Один из распространенных симптомов благосостояния в наши дни — губительный невроз; в век Чарльза это была безмятежная скука. Правда, волна революций 1848 года и воспоминание о вымерших чартистах еще отбрасывали исполинскую тень на этот период, но для многих — и в том числе для Чарльза — наиболее существенным признаком этой надвигавшейся грозы было то, что она так и не грянула. Шестидесятые годы были, несомненно, эпохой процветания; достаток, которого достигли ремесленники и даже промышленные рабочие, совершенно вытеснил из умов мысль о возможности революции, по крайней мере в Великобритании. Само собою разумеется, что Чарльз понятия не имел о немецком ученом-философе, который в тот самый мартовский день работал за библиотечным столом Британского музея и трудам которого, вышедшим из этих сумрачных стен, суждено было оказать такое огромное влияние на всю последующую историю

человечества. И если бы вы рассказали об этом Чарльзу, он наверняка бы вам не поверил, а между тем всего лишь через полгода после описываемых нами событий в Гамбурге выйдет в свет первый том «Капитала».

Существовало также бесчисленное множество личных причин, по которым Чарльз никак не подходил для приятной роли пессимиста. Дед его, баронет, принадлежал ко второму из двух обширных разрядов, на которые делились английские сельские сквайры — приверженные к кларету охотники на лис и ученые собиратели всего на свете. Собирал он главным образом книги, но под конец жизни, истощая свои доходы (и еще более — терпение своего семейства), предпринял раскопки безобидных бугорков, испещрявших три тысячи акров его земельной собственности в графстве Уилтшир. Кромлехи и менгиры, кремневые орудия и могильники эпохи неолита за всем этим он гонялся так же яростно, как его старший сын, едва успев вступить во владения наследством, принялся изгонять из дома отцовские портативные трофеи. Однако всевышний покарал — или вознаградил этого сына, позаботившись о том, чтобы он не женился. Младший сын старика, отец Чарльза, получил порядочное состояние как в виде земель, так и денег.

Жизнь его была отмечена единственной трагедией — одновременной кончиной его молодой жены и новорожденного младенца — сестры годовалого Чарльза. Но он справился со своим горем. Сына он окружил если не любовью, то по крайней мере целым штатом наставников и фельдфебелей и в общем относился к нему лишь немногим хуже, чем к самому себе. Он продал свою часть земли, дальновидно вложил капитал в железнодорожные акции и недальновидно — в карты (он искал утешения не столько у Господа Бога, сколько у господина Олмека), короче говоря, жил так, как если бы родился не в 1802, а в 1702 году, жил главным образом ради своих удовольствий... а в 1856 году главным образом от них и умер. Чарльз остался единственным наследником — не только поубавившегося состояния своего родителя (баккара под конец перевесило железнодорожный бум), но рано или поздно должен был унаследовать и весьма значительное состояние дяди. Правда, в 1867 году дядя, хотя и решительно отдал предпочтение кларету, не подавал ни малейших признаков смерти.

Чарльз любил своего дядю, а тот любил племянника. Впрочем, их отношения не всегда ясно об этом свидетельствовали. Хотя Чарльз шел на уступки по части охоты и соглашался в виде одолжения пострелять куропаток и фазанов, охотиться на лис он категорически отказывался. И не потому, что добыча была несъедобной, а потому, что он не переваривал охотников. Хуже того: он испытывал противоестественную склонность к пешему хождению, предпочитая его верховой езде, а ходить пешком где бы то ни было, кроме Швейцарских Альп, считалось занятием недостойным джентльмена. Он ничего не имел против лошадей как таковых, но, будучи прирожденным натуралистом, терпеть не мог, если что-нибудь мешало ему вести наблюдения с близкого расстояния и не спеша. Удача, однако, ему сопутствовала. Однажды осенью, за много лет до описываемой нами поры, он подстрелил на меже

дядюшкиного пшеничного поля какую-то странную птицу. Когда он понял, какой редкий экземпляр уничтожил, он рассердился на себя: это была одна из последних больших дроф, убитых на равнине Солсбери. Зато дядюшка пришел в восторг. Из птицы сделали чучело, и с тех пор она, словно индюшка, злобно таращила свои бусинки-глаза из-под стеклянного колпака в гостиной Винзиэтта.

Дядюшка без конца докучал гостям рассказом об этом подвиге, и всякий раз, когда его охватывало желание лишить Чарльза наследства, — а одна эта тема приводила его в состояние близкое к апоплексии, ибо имение подлежало наследованию только по мужской линии, — он глядел на бессмертную Чарльзову дрофу и вновь преисполнялся добрых родственных чувств. Надо сказать, что у Чарльза были свои недостатки. Он не всегда писал дяде раз в неделю и к тому же, посещая Винзиэтт, имел дурную привычку просиживать целыми днями в библиотеке — комнате, которую его дядя едва ли когда-нибудь посещал.

Были у него, однако, недостатки и более серьезные. В Кембридже, надлежащим образом вызубрив классиков и признав «Тридцать девять статей», он (в отличие от большинства молодых людей своего времени) начал было и в самом деле чему-то учиться. Но на втором курсе он попал в дурную компанию и кончил тем, что одним туманным лондонским вечером предался плотскому греху с некоей обнаженной девицей. Из объятий этой пухленькой простолюдинки он бросился в объятия церкви и вскоре после того поверг в ужас своего родителя, объявив, что желает принять духовный сан. Против катастрофы столь необъятных размеров имелось одно только средство: юного грешника отправили в Париж. Когда он оттуда вернулся, о его слегка потускневшей девственности уже не было и речи, равно как — на что и надеялся отец Чарльза — о его предполагаемом союзе с церковью. Чарльз разглядел, что скрывалось за обольстительными призывами Оксфордского движения: римский католицизм *propria terra*¹ И он отказался растрачивать свою скептическую, но уютную английскую душу — ирония пополам с условностями на фимиам и папскую непогрешимость. Вернувшись в Лондон, он пролистал и бегло просмотрел с десятков современных ему религиозных теорий, но выбрался из этой переделки (*voyant trop pour nier, et trop peu pour s'assurer*)² живым и здоровым агностиком³ Если ему и удалось извлечь из бытия что-либо мало-мальски похожее на Бога, то он нашел это в Природе, а не в Библии; живи он на сто лет раньше, он стал бы деистом, быть может, даже пантеистом. Время от времени, если было с кем, он посещал по воскресеньям утреннюю службу, но один ходил в церковь очень редко.

¹ На собственной земле (*лат.*).

² Видя слишком много, чтобы отрицать, слишком мало, чтобы уверовать (*фр.*).

³ Хотя сам он и не назвал бы себя так — по той простой причине, что термин этот был введен в употребление (Томасом Генри Гексли) лишь в 1870 году; к этому времени в нем возникла настоятельная необходимость. (*Примеч. автора.*)

Проведя полгода во Граде Греха, он в 1856 году возвратился в Англию. Три месяца спустя умер его отец. Просторный дом в Белгравии был сдан внаем, и Чарльз поселился в Кенсингтоне, в доме, более подходящем для молодого холостяка. Там его опекали лакей, кухарка и две горничные — штат почти эксцентричный по скромности для такого знатного и богатого молодого человека. Но там ему нравилось, и кроме того, он много путешествовал. Он опубликовал в светских журналах два-три очерка о своих странствиях по далеким краям; один предприимчивый издатель даже предложил ему написать книгу о его девятимесячном пребывании в Португалии. Но в писательском ремесле Чарльз усмотрел нечто явно *infra dig*¹, а также нечто требующее слишком большого труда и сосредоточенности. Какое-то время он носился с этой идеей, но потом ее бросил. Носиться с идеями вообще стало главным его занятием на третьем десятке.

Но даже барахтаясь в медлительном потоке викторианской эпохи, Чарльз не превратился в легкомысленного бездельника. Случайное знакомство с человеком, знавшим об археологической мании его деда, помогло ему понять, что старик, без устали гонявший на раскопки команды ошалелых поселян, был смешон лишь в глазах собственной родни. В памяти других сэр Чарльз Смитсон остался одним из основоположников археологии доримской Англии; часть его изгнанной из дома коллекции с благодарностью приняли в Британский музей. И Чарльз постепенно осознал, что по склонностям он ближе к своему деду, чем к обоим его сыновьям. В последние три года он стал все больше интересоваться палеонтологией и решил, что это и есть его призвание. Он начал посещать собрания Геологического общества. Дядя с неодобрением наблюдал, как Чарльз выходит из Винзизтта, вооруженный геологическими молотками и с рюкзаком на спине; по его мнению, в деревне джентльмену подобало держать в руках только ружье или хлыст; но это все-таки было лучше, чем корпеть над дурацкими книгами в дурацкой библиотеке.

Однако еще меньше нравилось дяде отсутствие у Чарльза интереса к другому предмету. Желтые ленты и желтые нарциссы, эмблемы либеральной партии, были в Винзизтте анафемой; старик самый что ни на есть лазурно-голубой тори — имел на этот счет свой тайный умысел. Однако Чарльз вежливо отклонял все попытки уговорить его баллотироваться в парламент. Он объявил, что у него нет никаких политических убеждений. В тайне он восхищался Гладстоном, но в Винзизтте даже имя этого архипредателя было под запретом. Таким образом, уважение к родне и общественная пассивность, весьма удачно объединившись, закрыли перед Чарльзом эту естественную для него карьеру.

Боюсь, что главной отличительной чертой Чарльза была лень. Подобно многим своим современникам, он чувствовал, что век его, утрачивая прежнее сознание

своей ответственности, проникается самодовольством, что движущей силой новой Британии все больше становится желание казаться респектабельной, а не желание делать добро ради добра. Он знал, что чересчур привередлив. Но можно ли писать исторические труды сразу после Маколея? Или стихи и прозу в отсветах величайшей плеяды талантов в истории английской литературы? Можно ли сказать новое слово в науке при жизни Лайеля и Дарвина? Стать государственным деятелем, когда Гладстон и Дизраэли без остатка поделили все наличное пространство?

Как видите, Чарльз метил высоко. Так всегда поступали умные бездельники, чтобы оправдать свое безделье перед своим умом. Короче, Чарльз был в полной мере заражен байроническим сплином при отсутствии обеих байронических отдушин — гения и распутства.

Но хотя смерть порою и медлит, она в конце концов всегда милосердно является, что, как известно, предвидят мамы с дочерьми на выданье. Даже если бы Чарльз не имел таких блестящих видов на будущее, он все равно представлял определенный интерес. Заграничные путешествия, к сожалению, отчасти стерли с него налет глубочайшего занудства (викторианцы называли это свойство серьезностью, высокой нравственностью, честностью и тысячью других обманчивых имен), которое только и требовалось в те времена от истинного английского джентльмена. В его манере держаться проскальзывал цинизм — верный признак врожденной безнравственности, однако стоило ему появиться в обществе, как мамы принимались пожирать его глазами, папаша — хлопать его по спине, а девицы жеманно ему улыбаться. Чарльз был весьма равнодушен к смазливой девицам и не прочь поводить за нос и их самих, и их лелеющих честолюбивые планы родителей. Таким образом он приобрел репутацию человека надменного и холодного — вполне заслуженную награду за ловкость (а к тридцати годам он поднатерел в этом деле не хуже любого хорька), с какою он обнюхивал приманку, а потом пускался наутек от скрытых зубьев подстерегавшей его матримонической западни.

Сэр Роберт частенько давал ему за это нагоняй, но в ответ Чарльз лишь подшучивал над старым холостяком и говорил, что тот напрасно тратит порох.

— Я никогда не мог найти подходящей женщины, ворчал старик.

— Чепуха. Вы никогда ее не искали.

Еще как искал. В твоём возрасте...

— В моём возрасте вы интересовались только собаками и охотой на куропаток.

Сэр Роберт мрачно смотрел на свой кларет. Он, в сущности, не слишком сетовал на то, что не женат, но горько сокрушался, что у него нет детей и некому дарить ружья и пони. Он видел, как его образ жизни бесследно уходит в небытие.

— Я был слеп. Слеп!

— Милый дядя, у меня превосходное зрение. Утештесь. Я тоже ищу подходящую девушку. И я ее еще не нашел.

¹ Ниже своего достоинства (лат.).

Блаженны те, кто совершить успел
На этом свете много добрых дел;
И пусть их души в вечность отлетели
Им там зачтутся их благие цели.

*Каролина Нортон.
Хозяйка замка Лагарэ (1863)*

Большая часть британских семейств среднего и высшего сословия жила над своими собственными выгребными ямами...

*Э. Ройстон Пайк.
Человеческие документы викторианского золотого века*

Кухня в полуподвале принадлежавшего миссис Поултни внушительного дома в стиле эпохи Регентства, который, как недвусмысленно тонкий намек на положение его хозяйки в обществе, занимал одну из крутых командных высот над Лайм-Риджисом, сегодня, без сомнения, показалась бы никуда не годной. Хотя в 1867 году у тамошней прислуги не было двух мнений насчет того, кто их тиран, в наши дни самым страшным чудовищем наверняка была бы признана колоссальная кухонная плита, занимавшая целую стену этого обширного, плохо освещенного помещения. Три ее топки надо было дважды в день загружать и дважды очищать от золы, а так как от плиты зависел ровный ход всего домашнего механизма, ей ни на минуту не давали угаснуть. Пусть в летний зной здесь можно было задохнуться, пусть при юго-западном ветре чудовище всякий раз изрыгало из пасти черные клубы удушливого дыма ненасытная утроба все равно требовала пищи. А стены! Они просто умоляли выкрасить их в какой-нибудь светлый, даже белый цвет! Вместо этого они были покрыты тошнотворной свинцовой зеленью, которая — что было неведомо ее обитателям (равно как, сказать по чести, и тирану на верхнем этаже) — содержала изрядную примесь мышьяка. Быть может, даже к лучшему, что в помещении было сыро, а чудовище извергало столько дыма и копоти. По крайней мере смертоносную пыль прибывало к земле.

Старшиной в этих стигийских пределах состояла некая миссис Фэрли, тощая малорослая особа, всегда одетая в черное — не столько по причине вдовства, сколько по причине своего нрава. Возможно, ее острая меланхолия была вызвана созерцанием неиссякаемого потока ничтожных людишек, которые пронеслись через ее кухню. Дворецкие, конюхи, лакеи, садовники, горничные верхних покоев, горничные нижних покоев — все они терпели сколько могли правила и повадки миссис Поултни, а потом обращались в бегство. Конечно, с их стороны это было чрезвычайно трусливо и недостойно. Но когда приходится вставать в шесть утра, работать с половины седьмого до одиннадцати, потом снова с половины двенадцатого до половины пятого, а потом еще с пяти до десяти и так изо дня в день — то есть сто часов в неделю, — запасы достоинства и мужества быстро иссякают.

Ставшее легендарным резюме чувств, испытываемых прислугой, изложил самой миссис Поултни первый из пяти уволенных ею дворецких: «Сударыня, я скорее соглашусь провести остаток дней в богадельне, чем

прожить еще неделю под этой крышей». Не все поверили, чтобы кто-то и вправду осмелился сказать такие слова прямо в глаза грозной хозяйке. Однако когда дворецкий спустился в кухню со своими пожитками и во всеуслышанье их повторил, его чувства разделили все.

Что касается миссис Фэрли, то ее долготерпение было одним из местных чудес. Скорее всего оно объяснялось тем, что, если б ей выпал иной жребий, она сама стала бы второй миссис Поултни. Ее удерживала здесь зависть, а также мрачное влорадство по поводу всяческих неурядиц, то и дело потрясавших дом. Короче говоря, в обеих дамах дремало садистское начало, и их взаимная терпимость была им только выгодна.

Миссис Поултни была одержима двумя навязчивыми идеями или, вернее, двумя сторонами одной и той же навязчивой идеи. Первой из них была Грязь (для кухни, правда, делалось некоторое исключение: в конце концов там жила только прислуга); второй была Безнравственность. Ни в той, ни в другой области от ее орлиного взора не ускользала ни малейшая оплошность. Она напоминала упитанного стервятника, который от нечего делать бесконечно кружит в воздухе, и была наделена сверхъестественным шестым чувством, позволявшим ей обнаруживать пыль, следы от пальцев, плохо накрахмаленное белье, дурные запахи, пятна, разбитую посуду и прочие упущения, свойственные домашнему обиходу. Садовника выгоняли за то, что он вошел в дом, не отмыв руки от земли, дворецкого — за винные пятна на галстук, горничную — за хлопья пыли под ее собственной кроватью.

Но самое ужасное, что даже за пределами своего дома миссис Поултни не признавала никаких границ своей власти. Отсутствие по воскресеньям в церкви — на утренней, на вечерней ли службе — считалось доказательством безнадежной распушенности. Горе тщи служанке, которую в один из ее редких свободных вечеров (их разрешали раз в месяц, да и то с трудом) заметили в обществе какого-нибудь молодого человека. И горе тому молодому человеку, которого любовь заставила пробраться на свидание в сад Мальборо-хауса, ибо это был не сад, а целый лес «гуманных капканов» — гуманных в том смысле, что, хотя притаившиеся в ожидании жертвы мощные челюсти и не имели зубьев, они легко могли сломать человеку ногу. Этих железных слуг миссис Поултни предпочитала всем прочим. Их она никогда не увольняла.

Для этой дамы, несомненно, нашлось бы местечко в гестапо — ее метод допроса был таков, что за пять минут она умела довести до слез самых стойких служанок. Она по-своему олицетворяла наглость и самонадеянность восходящей Британской империи. Единственным справедливым мнением она всегда считала свое, а единственным разумным способом управления — яростную бомбардировку строптивых подданных.

Однако в своем собственном, весьма ограниченном, кругу она славилась благотворительностью. И если бы вам пришло в голову в этой ее репутации усомниться, вам тотчас представили бы неопровержимое доказа-

тельство — разве милая, добрая миссис Поултни не приютила Подругу французского лейтенанта? Нужно ли добавлять, что в ту пору милой, доброй миссис Поултни из двух прозвищ «подруги» было известно только второе — греческое.

Это удивительное событие произошло весной 1866 года, ровно за год до того времени, о котором я пишу, и было связано с великой тайной в жизни миссис Поултни. Тайна эта была весьма проста. Миссис Поултни верила в ад.

Тогдашний священник лаймского прихода, человек в области теологии сравнительно вольномыслящий, принадлежал, однако, к числу тех пастырей, которые охотки на свою руку не положат. Он вполне удовлетворял Лайм, по традиции сохранявший верность Низкой церкви. Проповеди его отличались известным красноречием, и он не допускал к себе в церковь распятий, икон, украшений и других симптомов злокачественной римской язвы. Когда миссис Поултни излагала ему свои теории загробной жизни, он не вступал с нею в спор, ибо священники, которым вверены не слишком прибыльные приходы, не спорят с богатыми прихожанами. Для него кошелек миссис Поултни был всегда открыт, хотя когда приходило время платить жалованье ее тринадцати слугам, он открывался весьма неохотно. Предыдущей зимой (это была зима четвертого по счету нашествия холеры на викторианскую Англию) миссис Поултни слегка занемогла, и священник навещал ее не реже врачей, которым приходилось без конца уверять ее, что болезнь ее вызвана обычным расстройством желудка, а отнюдь не грозной убийцей с Востока.

Миссис Поултни была далеко не глупа, более того, она обладала завидной практической сметкой, а ее будущее местопребывание, как и все, что было связано с ее удобствами, составляло предмет весьма практического свойства. Когда она рисовала в своем воображении образ Господа Бога, то лицом он сильно смахивал на герцога Веллингтонского, характером же скорее напоминал ловкого стряпчего представителя племени, к которому миссис Поултни питала глубокое почтение. Лежа в постели, она все чаще мучительно обдумывала жуткую математическую задачу: как Господь подсчитывает благотворительность — по тому, сколько человек пожертвовал, или по тому, сколько он мог бы пожертвовать? По этой части она располагала сведениями более точными, нежели сам священник. Она пожертвовала церкви немалые суммы, но знала, что они весьма далеки от предписанной законом божьим десятины, с которой надлежит расстаться серьезным претендентам на райское блаженство. Разумеется, она составила свое завещание в таком духе, чтобы после ее смерти сальдо было должным образом сведено, но ведь может случиться, что при оглашении этого документа Господь будет отсутствовать. Но что еще хуже, во время ее болезни миссис Фэрли, которая по вечерам читала ей Библию, выбрала притчу о лепте вдовицы. Эта притча всегда казалась миссис Поултни чудовищно несправедливой, а на сей раз угнездилась в ее сердце на срок еще более долгий, чем бациллы

энтерита в ее кишечнике. Однажды, когда дело шло уже на поправку, она воспользовалась визитом заботливого пастыря, чтобы осторожно прозондировать свою совесть. Сначала священник попытался отместить ее духовные сомнения.

— Уважаемая миссис Поултни, вы твердо стоите на скале добродетели. Создатель все видит и все знает. Нам не пристало сомневаться в его милосердии и справедливости.

— А вдруг он спросит, чиста ли моя совесть? Священник улыбнулся.

Вы ответите, что она вас несколько тревожит. И он, в бесконечном сострадании своем, разумеется..:

А вдруг нет?

Дорогая миссис Поултни, если вы будете говорить так, мне придется вас пожурить. Не нам судить о его премудрости.

Наступило молчание. При священнике миссис Поултни чувствовала себя как бы в обществе сразу двоих людей. Один, ниже ее по социальному положению, был многим ей обязан: благодаря ее щедротам он имел возможность сладко есть, не стесняться в текущих расходах на нужды своей церкви, а также успешно выполнять не связанные с церковной службой обязанности по отношению к бедным; второй же был представителем Господа Бога, и перед ним ей надлежало метафорически преклонять колени. Поэтому ее обращение с ним часто бывало непоследовательным и странным: она смотрела на него то *de haut en bas*¹, то *de bas en haut*², а порою ухитрялась выразить обе эти позиции в одной фразе.

— Ах, если бы бедный Фредерик был жив. Он дал бы мне совет.

— Несомненно. И поверьте, его совет был бы точно таким же, как мой. Я знаю, что он был добрым христианином. А мои слова выражают истинно христианскую доктрину.

— Его смерть была предупреждением. Наказанием свыше.

Священник бросил на нее строгий взгляд.

— Остерегитесь, сударыня, остерегитесь. Нельзя легкомысленно посягать на прерогативы Творца нашего.

Миссис Поултни сочла за лучшее не спорить. Все приходские священники в мире не могли оправдать в ее глазах безвременную кончину ее супруга. Она оставалась тайной между нею и Господом — тайной наподобие черного опала, и то вспыхивала грозным предзнаменованием, то принимала форму аванса, внесенного в счет окончательной расплаты, которая, быть может, ей еще предстояла.

— Я приносила жертвоприношения. Но я не совершала добрых дел.

— Жертвоприношение — наилучшее из добрых дел.

— Я не такая, как леди Коттон.

Столь резкий переход от небесного к земному не удивил священника. Судя по предыдущим высказываниям миссис Поултни, она знала, что в скачке на приз

¹ Сверху вниз (фр.).
² Снизу вверх (фр.).

благочестия на много корпусов отстает от вышеозначенной дамы. Леди Коттон, жившая в нескольких милях от Лайма, славилась своей фанатической благотворительностью. Она посещала бедных, она была председательницей миссионерского общества, она основала приют для падших женщин, правда, с таким строгим уставом, что питомицы ее Магдалинского приюта при первом удобном случае вновь бросались в бездну порока — о чем, однако, миссис Поултни была осведомлена не более, чем о другом, более вульгарном прозвище Трагедии.

Священник откашлялся.

— Леди Коттон — пример для всех нас. — Это еще больше подлило масла в огонь, что, возможно, входило в его намерения.

— Мне следовало бы посещать бедных.

— Это было бы превосходно.

— Но эти посещения меня всегда так ужасно расстраивают. — Священник невежливо промолчал. — Я знаю, что это грешно.

— Полноте, полноте.

— Да, да. Очень грешно.

Последовала долгая пауза, в продолжение которой священник предавался мыслям о своем обеде (до коего оставался еще целый час), а миссис Поултни — о своих грехах. Затем она с необычной для нее робостью предложила компромиссное решение своей задачи.

— Если бы вы знали какую-нибудь даму, какую-нибудь благовоспитанную особу, попавшую в бедственное положение...

— Простите, я вас не совсем понимаю.

— Я хочу взять себе компаньонку. Мне стало трудно писать. А миссис Фэрли так скверно читает... Я бы охотно предоставила кров такой особе.

— Прекрасно. Если вы этого желаете, я наведу справки.

Миссис Поултни несколько устала от предстоящего безумного прыжка в лоно истинного христианства.

— Она должна быть безупречна в нравственном отношении. Я обязана заботиться о своей прислуге.

— Разумеется, сударыня, разумеется. — Священник поднялся.

— И желательно, чтоб у нее не было родни. Родня подчиненных может сделаться такой тяжелой обузой...

— Не беспокойтесь, я не стану рекомендовать вам сколько-нибудь сомнительную особу.

Священник пожал ей руку и направился к двери.

— И, мистер Форсайт, она не должна быть слишком молода.

Он поклонился и вышел из комнаты. Но на полпути вниз он остановился. Он вспомнил. Он задумался. И, быть может, чувство, заставившее его вернуться в гостиную, было не совсем чуждо злорадству, вызванному столь долгими часами лицемерия — или, скажем, не всегда полной искренности, — которые он провел возле облаченной в бумазейное платье миссис Поултни. Он вернулся в гостиную и остановился в дверях.

— Мне пришла в голову одна вполне подходящая особа. Ее зовут Сара Вудраф.

5

Коль Смерть равнялась бы концу
И с нею все тонуло в Лете,
Любви бы не было на свете;
Тогда, наперекор Творцу,

Любой из смертных мог бы смело —
Сатирам древности под стать —
Души бессмертье променять
На нужды низменного тела.

А. Теннисон. In Memoriam (1850)

Молодежи не терпелось побывать в Лайме.

Джейн Остин. Убеждение

Лицо Эрнестины было совершенно во вкусе ее эпохи — овальное, с маленьким подбородком, нежное, как фиалка. Вы можете увидеть его на рисунках знаменитых иллюстраторов той поры — Физа и Джона Лича. Серые глаза и белизна кожи лишь оттеняли нежность всего ее облика. При первом знакомстве она умела очень мило опускать глазки, словно предупреждая, что может лишиться чувств, если какой-нибудь джентльмен осмелится с нею заговорить. Однако нечто, таившееся в уголках ее глаз, а равным образом и в уголках ее губ, нечто — если продолжить приведенное выше сравнение — неуловимое, как аромат февральских фиалок, едва заметно, но совершенно недвусмысленно сводило на нет ее кажущееся беспрекословное подчинение великому божеству — Мужчине. Ортодоксальный викторианец, быть может, отнесся бы с опаской к этому тончайшему намеку на Бекки Шарп, но Чарльза она покорила. Она была почти такая же, как десятки других благовоспитанных куколок — как все эти Джорджины, Виктории, Альбертины, Матильды и иже с ними, которые под неусыпным надзором сидели на всех балах, — почти, но не совсем.

Когда Чарльз отправился в гостиницу, которую от дома миссис Трэнтер на Брод-стрит отделяло не более сотни шагов, с глубокомысленным видом (как всякий счастливый жених, он боялся выглядеть смешным) поднялся по лестнице к себе в номер и начал задавать вопросы своему красивому отражению в зеркале, Эрнестины извинилась и поднялась вверх. Ей хотелось бросить последний взгляд на своего нареченного сквозь кружевные занавески, а также побыть в той единственной комнате теткинго дома, которая не внушала ей отвращения.

Вволю налюбовавшись его походкой и в особенности жестом, которым он приподнял свой цилиндр перед горничной миссис Трэнтер, посланной с каким-то поручением, и рассердившись на него за это, потому что у девушки были озорные глазки дорсетской поселянки и соблазнительный румянец во всю щеку, а Чарльзу строжайше запрещалось смотреть на женщин моложе шестидесяти лет (условие, по счастью, не распространявшееся на тетушку Трэнтер, которой как раз исполнилось шестьдесят), Эрнестины отошла от окна. Комната была обставлена специально для нее и по ее вкусу, подчеркнута французскому; в те времена он был столь же тяжеловесен, сколь и английский, но отличался чуть большим количеством позолоты и дру-

гих затей. Все остальные комнаты в доме непререкаемо, солидно и неколебимо отвечали вкусу предыдущей четверти века, иными словами, представляли собой настоящий музей предметов, созданных в первом благородном порыве отрицания всего легкого, изящного и упадочного, что напоминало о нравах пресловутого Принни, Георга IV

Не любить тетушку Трэнтер было невозможно; никогда не пришла бы в голову даже мысль о том, чтобы рассердиться на это простодушно улыбающееся и словоохотливое — главным образом словоохотливое — создание. Она отличалась глубочайшим оптимизмом довольных своей судьбою старых дев: одиночество либо ожесточает, либо учит независимости. Тетушка Трэнтер начала с того, что пеклась о себе, а кончила тем, что пеклась обо всех на свете.

Эрнестина, однако, только и делала, что на нее сердилась — за невозможность обедать в пять часов, за унылую мебель, загромождавшую все комнаты, кроме ее собственной, за чрезмерную заботу об ее добром имени (тетя никак не могла взять в толк, что жениху и невесте хочется побыть или погулять вдвоем), а всего более за то, что она, Эрнестина, вообще торчит здесь, в Лайме.

Бедняжке выпали на долю извечные муки всех единственных детей — постоянно находиться под колпаком неусыпной родительской заботы. С тех пор как она появилась на свет, при малейшем ее кашле съезжались врачи; когда она подросла, по малейшей ее прихоти в дом созывались портнихи и декораторы; и всегда малейшая ее недовольная гримаса заставляла папу с мамой часами втихомолку терзаться угрызениями совести. Пока дело касалось новых нарядов и новой обивки стен, все шло как по маслу, но существовал один пункт, по которому все ее *bouderies*¹ и жалобы не производили никакого впечатления. Это было ее здоровье. Родители вбили себе в голову, что она предрасположена к чахотке. Стоило им ощутить в подвале запах сырости, как они переезжали в другой дом; если во время поездки за город два дня подряд шел дождь, они переезжали в другую местность. Половина Харлестрит обследовала Эрнестину и не нашла у нее ровно ничего; она ни разу в жизни ничем серьезным не болела; у нее не было ни вялости, ни хронических приступов слабости, характерных для этого недуга. Она могла — то есть могла бы, если бы ей хоть раз разрешили, — протанцевать всю ночь напролет, а наутро как ни в чем не бывало отправиться играть в волан. Но она была так же не способна поколебать навязчивую идею своих любящих родителей, как грудной ребенок — сдвинуть с места гору. О, если бы они могли заглянуть в будущее! Эрнестине суждено было пережить все свое поколение. Она родилась в 1846 году. А умерла в тот день, когда Гитлер вторгся в Польшу.

Обязательной частью совершенно ненужного ей режима было ежегодное пребывание в Лайме у тетки, сестры ее матери. Обычно она приезжала сюда отдохнуть после лондонского сезона, нынче ее отправили пораньше — набраться сил для свадьбы. Бризы Ла-

Манша, несомненно, шли ей на пользу, но всякий раз, когда карета начинала спускаться под гору к Лайму, на лице ее изображалось уныние арестанта, сосланного в Сибирь. Общество в этом городишке было так же современно, как тетушкина громоздкая мебель красного дерева; что же до развлечений, то для молодой девицы, которой было доступно все самое лучшее, что только мог предложить Лондон, они были хуже чем ничего. Поэтому ее отношения с тетушкой Трэнтер напоминали скорее отношения резвой девочки, этаким английской Джульетты, с ее прозаической кормилицей, нежели отношения племянницы с теткой. И в самом деле, если бы прошлой зимой на сцене не появился спаситель — Ромео и не пообещал разделить с нею одиночное заключение, она бы взбунтовалась — по крайней мере она была почти уверена, что взбунтовалась бы. Эрнестина, несомненно, обладала волей гораздо более сильной, чем мог допустить кто-либо из окружающих, и более сильной, чем допускала ее эпоха. Но, к счастью, она питала должное уважение к условностям и, подобно Чарльзу, что вначале главным образом и привлекло их друг к другу, умела иронически относиться к собственной персоне. Будь она лишена этой способности, а также чувства юмора, она была бы скверной избалованной девчонкой; и ее, несомненно, спасало то, что именно так («Ах ты, скверная избалованная девчонка!») она частенько обращалась к самой себе.

Эрнестина расстегнула платье и подошла к зеркалу в сорочке и нижних юбках. Несколько секунд она влюбленным взглядом рассматривала свое отражение. Шея и плечи были у нее под стать лицу; она и впрямь была очень хорошенькая, пожалуй, самая хорошенькая среди всех своих знакомых девушек. И, как бы желая это доказать, она подняла руки и распустила волосы — поступок, по ее понятиям, в чем-то греховный, но необходимый, как горячая ванна или теплая постель в зимнюю ночь. И на какое-то поистине греховное мгновение она вообразила себя падшей женщиной балериной или актрисой. А потом, если бы вам случилось за нею подсматривать, вы увидели бы нечто весьма занятное. Она вдруг перестала вертеться и любоваться своим профилем и быстро подняла глаза к потолку. Ее губы зашевелились. Она поспешно открыла один из шкафов и накинула пеньюар.

Ибо мысль, мелькнувшая у нее, когда она совершала все эти пируэты и краем глаза увидела в зеркале уголок своей кровати, была явно сексуальной — ей почудилось сплетенье обнаженных тел, как в статуе Лаокоона. Пугало ее не только то, что она ровно ничего не знала о реальных подробностях совокупления, — тень жестокости и боли, которая, в ее представлении, омрачала этот акт, казалась ей несовместимой с мягкостью жестов и скромностью дозволенных ласк, которые так привлекали ее в Чарльзе. Раз или два ей случалось видеть, как совокупляются животные, и с тех пор ее преследовало воспоминание об этом грубом насилии.

Поэтому она придумала для себя нечто вроде заповеди — «не смей!» — и тихонько повторяла эти слова всякий раз, как в ее сознание пытались вторгнуться мысли о физической стороне ее женского естества. Но заклинай не заклинай, а от природы не

¹ Капризы (фр.).

уйдешь. Эрнестине хотелось иметь мужа, ей хотелось, чтобы этим мужем был Чарльз, хотелось иметь детей; только цена, которую, как она смутно догадывалась, придется за них заплатить, казалось ей непомерной.

Она не понимала, зачем Господь Бог допустил, чтобы Долг, принимая столь звероподобное обличье, испортил столь невинное влечение. Это же чувство разделяла большая часть современных ей женщин и большая часть мужчин; и неудивительно, что понятие долга стало ключом к нашему пониманию викторианской эпохи и, уж если на то пошло, внушает такое отвращение нам самим¹

Загнав в угол природу, Эрнестина подошла к туалетному столику, отперла ящик и достала оттуда свой дневник в черном сафьяновом переплете с золотым замочком. Из другого ящика она вытащила спрятанный там ключ, отперла замочек и раскрыла альбом на последней странице. В день помолвки с Чарльзом она вписала сюда по месяцам все числа, которые отделяли этот день от свадьбы. Два месяца были уже аккуратно вычеркнуты, оставалось приблизительно девяносто дней. Эрнестина вынула из альбома карандашик с наконечником из слоновой кости и вычеркнула двадцать шестое марта. До конца дня было еще девять часов, но она часто позволяла себе эту невинную хитрость. Затем она перевернула десятка полтора уже исписанных убористым почерком страниц (альбом ей подарили на Рождество) и открыла чистый листок, на котором лежала засушенная веточка жасмина. Эрнестина взглянула на цветок, потом наклонилась и понюхала. Ее распущенные волосы рассыпались по странице, и она закрыла глаза, чтобы проверить, удастся ли ей воскресить в воображении тот восхитительный день, когда она думала, что умрет от радости, когда она плакала, плакала без конца, тот незабываемый день, когда.:

Но тут на лестнице послышались шаги тетушки Трэнтер, и Эрнестина, поспешно спрятав дневник, принялась расчесывать свои мягкие каштановые волосы.

6

Мод, моя белоснежная лань, ты ничьей не станешь женой...

А. Теннисон. Мод (1855)

Когда священник вернулся в гостиную со своим предложением, на лице миссис Поултни изобразилось полнейшее неведение. А когда имеешь дело с подобными дамами, то взывать без успеха к их осведомленности по большей части означает с успехом вызвать их

¹ Здесь уместно вспомнить строфы из поэмы «In Memoriam», которые я цитирую в качестве эпиграфа к этой главе. Приведенное стихотворение (XXXV) содержит, несомненно, самый странный из всех странных аргументов этой знаменитой антологии тревожных раздумий по поводу загробной жизни. Утверждать, что если бессмертия души не существует, то любовь — всего лишь похоть, свойственная сатирам, значит обращаться в паническое бегство от Фрейда. Царствие небесное было царствием небесным для викторианцев в значительной степени потому, что «низменное тело», а заодно и фрейдово Id, они оставляли на земле. (Примеч. автора.)

неудовольствие. Лицо миссис Поултни как нельзя лучше подходило для того, чтобы выражать это последнее чувство: глаза ее отнюдь не являли собою «прибежище молитвы бессловесной», как сказано у Теннисона, а отвислые щеки, переходившие в почти двойной подбородок, и поджатые губы ясно свидетельствовали о презрении ко всему, что угрожало двум ее жизненным принципам, из коих первый гласил (я прибегну к саркастической формулировке Трайчке): «Цивилизация — это мыло», а второй: «Респектабельность есть то, чего я требую от всех». Она слегка напоминала белого китайского мопса, вернее, чучело мопса, ибо в качестве профилактического средства против холеры носила у себя на груди мешочек с камфарой, так что за ней повсюду тянулся легкий запах шариков от моли.

— Я не знаю, кто это такая.

Священника обидел ее высокомерный тон, и он задался вопросом, что было бы, если б доброму самарянину вместо несчастного путника повстречалась миссис Поултни.

— Я не предполагал, что вы ее знаете. Эта девушка родом из Чармута.

— Она девица?

— Ну, скажем, молодая женщина, дама лет тридцати или больше. Я не хотел бы строить догадки.— Священник понял, что не слишком удачно начал речь в защиту отсутствующей обвиняемой.— Но она в весьма бедственном положении. И весьма достойна вашего участия.

— Она получила какое-нибудь образование?

— О да, разумеется. Она готовилась в гувернантки. И служила гувернанткой.

— А что она делает сейчас?

— Кажется, сейчас она без места.

— Почему?

— Это длинная история.

— Я бы желала ее услышать, прежде чем говорить о дальнейшем.

Священник снова уселся и рассказал ей то — или часть того (ибо в своей смелой попытке спасти душу миссис Поултни он решился рискнуть спасением своей собственной), — что ему было известно о Саре Вудраф.

— Отец этой девушки был арендатором в имении лорда Меритона близ Биминстера. Простой фермер, но человек наилучших правил, весьма уважаемый в округе. Он позаботился о том, чтобы дать своей дочери порядочное образование.

— Он умер?

— Несколько лет назад. Девушка поступила гувернанткой в семью капитана Джона Тальбота в Чармуте.

— Он даст ей рекомендацию?

— Дорогая миссис Поултни, если я правильно понял наш предыдущий разговор, речь идет не о найме на службу, а об акте благотворительности.— Миссис Поултни кивнула, как бы извиняясь, — что редко кому доводилось видеть.— Без сомнения, за рекомендацией дело не станет. Она покинула его дом по собственной воле. История такова. Вы, вероятно, помните, что во время страшного шторма в декабре прошлого года близ Стоунбэрроу выбросило на берег французский барк — кажется, он шел из Сен-Мало. И вы, конечно,

помните, что жители Чармута спасли и приютили трех членов его экипажа. Двое были простые матросы. Третий, сколько мне известно, служил на этом судне лейтенантом. При крушении он сломал ногу, но уцепился за мачту, и его прибило к берегу. Вы, наверное, читали об этом в газетах.

— Да, может быть. Я не люблю французов.

— Капитан Тальбот, сам морской офицер, весьма великодушно вверил этого... иностранца попечению своих домашних. Он не говорил по-английски, и мисс Вудраф поручили ухаживать за ним и служить переводчицей.

— Она говорит по-французски? — Волнение, охватившее миссис Поултни при этом ужасающем открытии, было так велико, что грозило поглотить священника. Но он нашел в себе силы поклониться и учтиво улыбнуться.

— Сударыня, почти все гувернантки говорят по-французски. Нельзя ставить им в вину то, чего требуют их обязанности. Но вернемся к французскому джентльмену. Увы, я должен сообщить вам, что он оказался недостойным этого звания.

— Мистер Форсайт!

Она нахмурилась, однако не слишком грозно, опасаясь, как бы у несчастного язык не примерз к нёбу.

— Спешу добавить, что в доме у капитана Тальбота ничего предосудительного не произошло. Более того, мисс Вудраф никогда и нигде ни в чем предосудительном замешана не была. Тут я всецело полагаюсь на мистера Фэрси-Гарриса. Он знаком со всеми обстоятельствами гораздо лучше меня. — Упомянутый авторитет был священником Чармутского прихода. — Но французу удалось покорить сердце мисс Вудраф. Когда нога у него зажила, он отправился с почтовой каретой в Уэймут, чтобы оттуда отплыть во Францию — так по крайней мере все полагали. Через два дня после его отъезда мисс Вудраф обратилась к миссис Тальбот с настоятельной просьбой разрешить ей оставить должность. Мне говорили, что миссис Тальбот пыталась дознаться почему. Однако безуспешно.

— И она позволила ей уйти сразу, без предупреждения?

Священник ловко воспользовался случаем:

— Совершенно с вами согласен. Она поступила весьма неразумно. Ей следовало быть осмотрительнее. Если бы мисс Вудраф служила у более мудрой хозяйки, эти печальные события, без сомнения, вообще бы не произошли. — Он сделал паузу, чтобы миссис Поултни могла оценить этот завуалированный комплимент. — Я буду краток. Мисс Вудраф отправилась вслед за французом в Уэймут. Ее поступок заслуживает всяческого порицания, хотя, как мне говорили, она останавливалась там у своей дальней родственницы.

— В моих глазах это ее не оправдывает.

— Разумеется, нет. Но вы не должны забывать об ее происхождении. Низшие сословия не столь щепетильны в вопросах приличий, как мы. Кроме того, я не сказал вам, что француз сделал ей предложение. Мисс Вудраф отправилась в Уэймут, полагая, что выйдет замуж.

— Но разве он не католик?

Миссис Поултни казалась самой себе безгрешным Патмосом в бушующем океане папизма.

— Боюсь, что его поведение свидетельствует об отсутствии какой бы то ни было христианской веры. Но он, без сомнения, убедил ее, что принадлежит к числу наших несчастных единовѣрцев в этой заблуждающейся стране. Спустя несколько дней он отплыл во Францию, пообещав мисс Вудраф, что, повидавшись со своим семейством и получив другой корабль — при этом он еще солгал, будто по возвращении его должны произвести в капитаны, — он вернется прямо в Лайм, женится на ней и увезет ее с собой. С тех пор она ждет. Теперь уже очевидно, что человек этот оказался бессердечным обманщиком. В Уэймуте он наверняка надеялся воспользоваться неопытностью несчастной в гнусных целях. Но, столкнувшись с ее твердыми христианскими правилами и убедившись в тщетности своих намерений, он сел на корабль и был таков.

— Что же случилось с нею дальше? Миссис Тальбот, конечно, не взяла ее обратно?

— Сударыня, миссис Тальбот дама несколько эксцентричная. Она предложила ей вернуться. Но теперь я подхожу к печальным последствиям случившегося. Мисс Вудраф не утратила рассудок. Отнюдь. Она вполне способна выполнять любые возложенные на нее обязанности. Однако она страдает тяжелыми приступами меланхолии. Не приходится сомневаться, что они отчасти вызваны угрызениями совести. Но боюсь, что также и ее глубоко укоренившимся заблуждением, будто лейтенант — человек благородный и что в один прекрасный день он к ней вернется. Поэтому ее часто можно видеть на берегу моря в окрестностях города. Мистер Фэрси-Гаррис, со своей стороны, всячески пытался разъяснить ей безнадежность, чтобы не сказать — неприличие ее поведения. Если называть вещи своими именами, сударыня, она слегка помешанная.

Наступило молчание. Священник положился на волю языческого божества — Случая. Он догадывался, что миссис Поултни производит в уме подсчеты. Согласно своим принципам, она должна была вознегодовать при одной лишь мысли о том, чтобы позволить подобной особе переступить порог Мальборо-хауса. Но ведь Господь потребует от нее отчета.

— У нее есть родня?

— Сколько мне известно, нет.

— На какие же средства она живет?

— На самые жалкие. Сколько мне известно, она подрабатывает шитьем. Мне кажется, что миссис Трэнтер давала ей такую работу. Но главным образом она живет на те сбережения, которые сделала раньше.

— Значит, она позаботилась о будущем.

Священник облегченно вздохнул.

— Если вы возьмете ее к себе, сударыня, то за ее будущее я спокоен. — Тут он пустил в ход свой последний козырь: — И быть может — хоть и не мне быть судьей вашей совести, — спасая эту женщину, вы спасетесь сами.

Ослепительное божественное видение внезапно посетило миссис Поултни — она представила себе леди Коттон, которой утерли ее праведный нос. Она нахмурилась, глядя на пушистый ковер у себя под ногами.

— Пусть мистер Фэрси-Гаррис приедет ко мне.

Неделю спустя мистер Фэрси-Гаррис в сопровождении священника Лаймского прихода явился с визитом, отведал мадеры, кое-что рассказал, а кое о чем — следуя совету своего преподобного коллеги — умолчал. Миссис Тальбот прислала пространное рекомендательное письмо, которое принесло больше вреда, чем пользы, ибо она самым постыдным образом не заклемила как следует поступок гувернантки. В особенности возмутила миссис Поултни фраза: «Мсье Варгенн был человек весьма обаятельный, а капитан Тальбот просит меня присовокупить, что жизнь моряка — не лучшая школа нравственности». На нее не произвело ни малейшего впечатления, что мисс Сара «знающая и добросовестная учительница» и что «мои малютки очень по ней скучают». Однако очевидное отсутствие у миссис Тальбот должной требовательности и ее глупая сентиментальность в конечном счете сослужили службу Саре — они открыли перед миссис Поултни широкое поле деятельности.

Итак, Сара в сопровождении священника явилась для собеседования. Втайне она сразу понравилась миссис Поултни — она казалась такой угнетенной, была так раздавлена случившимся. Правда, выглядела она подозрительно молодо — на вид, да и на самом деле, ей было скорее лет двадцать пять, чем «тридцать или больше». Но скорбь, написанная на ее лице, ясно показывала, что она грешница, а миссис Поултни не желала иметь дело ни с кем, чей вид не свидетельствовал о принадлежности к этой категории. Кроме того, она вела себя очень сдержанно, что миссис Поултни предпочла истолковать как немую благодарность. А главное, воспоминание о многочисленных уволенных ею слугах внушило старухе отвращение к людям развязным и дерзким, то есть к таким, которые отвечают, не дожидаясь вопросов, и предупреждают желания хозяйки, лишая ее удовольствия выбрать их за то, что эти желания не предупреждаются.

Затем, по предложению священника, она продиктовала Саре письмо. Почерк оказался превосходным, орфография безупречной. Тогда миссис Поултни устроила еще более хитроумное испытание. Она протянула Саре Библию и велела ей почитать. Она долго размышляла над выбором отрывка, мучительно разрываясь между псалмом 118 («Блаженны непорочные») и псалмом 139 («Избави меня, Господи, от человека злого»). В конце концов она остановилась на первом и теперь не столько прислушивалась к голосу чтящей, сколько старалась найти хоть какой-нибудь роковой намек на то, что Сара не слишком близко принимает к сердцу слова псалмопевца.

Голос у Сары был внятный и довольно низкий. В нем сохранились следы местного произношения, но в те времена аристократический выговор не приобрел еще такого важного социального значения, как впоследствии. Многие члены Палаты лордов и даже герцоги говорили с акцентом, свойственным их родным краям, и никто не ставил им это в упрек. Быть может, вначале голос Сары понравился миссис Поултни по контрасту с невыразительным чтением и запинками миссис Фэрли. Но под конец он просто ее очаровал, равно как и чувство, с каким Сара произнесла:

«О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов Твоих!»

Оставался короткий допрос.

— Мистер Форсайт сказал мне, что вы сохраняете привязанность к этому... иностранцу.

— Я не хочу говорить об этом, сударыня.

Если бы подобные слова осмелилась произнести какая-нибудь служанка, на нее немедленно обрушился бы *Diés Irae*¹ Однако они были сказаны открыто, без страха, но в то же время почтительно, и на сей раз миссис Поултни решила пропустить их мимо ушей.

— Я не потерплю у себя в доме французских книг.

— У меня их нет. И английских тоже, сударыня.

Добавлю, что книг у Сары не было потому, что она их все продала, а вовсе не потому, что она была ранней предшественницей небезызвестного Мак-Люэна.

— Но Библия у вас, разумеется, есть?

Девушка покачала головой.

— Дорогая миссис Поултни, — вмешался священник, — предоставьте это мне.

— Мне сказали, что вы исправно посещаете церковь.

— Да, сударыня.

— Продолжайте в том же духе. Господь не оставляет нас в беде.

— Я стараюсь разделить вашу веру, сударыня.

Наконец миссис Поултни задала самый трудный вопрос — тот, от которого священник заранее просил ее воздержаться:

— Что, если этот... этот человек вернется?

Но Сара опять поступила наилучшим образом: она ничего не сказала, а только опустила глаза и покачала головой. Все более укрепляясь в своем благодушии, миссис Поултни сочла это признаком безмолвного раскаяния.

Так она вступила на стезю благотворительности.

Ей, разумеется, не пришло в голову спросить, почему Сара, отказавшись поступить на службу к людям менее строгих христианских правил, чем миссис Поултни, пожелала войти в ее дом. На то было две весьма простых причины. Во-первых, из окон Мальборо-хауса открывался великолепный вид на залив Лайм. Вторая причина была еще проще. У Сары оставалось ровным счетом семь пенсов.

7

Наконец, чрезвычайно возросшая производительная сила в отраслях крупной промышленности, сопровождаемая интенсивным и экстенсивным ростом эксплуатации рабочей силы во всех остальных отраслях производства, дает возможность непроизводительно употреблять все увеличивающуюся часть рабочего класса и таким образом воспроизводить все большими массами старинных домашних рабов под названием «класса прислуги», как, например, слуг, горничных, лакеев и т. д.

К. Маркс. Капитал (1867)

Утро, когда Сэм открыл шторы, нахлынуло на Чарльза так, как на миссис Поултни (она в это время еще похрапывала) должно было, по ее представлениям,

¹ День гнева (лат.).

нахлынуть райское блаженство после надлежащей торжественной паузы, которая последует за ее кончиной. Раз десять в году на известном своим мягким климатом дорсетском побережье выпадают такие дни — не просто приятные, не по сезону мягкие дни, а восхитительные отблески средиземноморского тепла и света. В такую пору природа как бы теряет рассудок. Пауки, которым полагается пребывать в зимней спячке, бегают по раскаленным ноябрьским солнцем камням, в декабре поют черные дрозды, в январе распускаются первоцветы, а март передразнивает июнь.

Чарльз сел на постели, сорвал с головы ночной колпак, велел Сэму распахнуть окна и, опершись на руки, залюбовался льющимся в комнату солнечным светом. Легкое уныние, угнетавшее его накануне, рассеялось вместе с облаками. Он чувствовал, как теплый весенний воздух ласкает ему грудь сквозь полураскрытый ворот ночной рубашки. Сэм правил бритву, и из принесенного им медного кувшина поднимался легкий парок, неся с собой Прустово богатство ассоциаций — длинную вереницу таких же счастливых дней, уверенность в своем положении, в порядке, спокойствии, Цивилизации. Под окном застучали подковы по булыжной мостовой — к морю не спеша проехал всадник. Расхрабренный ветерок колыхал потрепанные шторы из красного плюша, но на солнце даже они казались красивыми. Все было великолепно. И таким, как это мгновенье, мир пребудет вечно.

Послышался топот маленьких копыт и жалобное блеянье. Чарльз встал и выглянул в окно. Напротив чинно беседовали два старика в украшенных гофрировкой «смоках». Один из них, пастух, опирался на палку с крюком. Дюжина овец и целый выводок ягнят беспокойно топтались посреди дороги. К 1867 году еще не перевелись живописные народные костюмы — остатки далекой английской старины, и в каждой деревушке нашлось бы с десяток стариков, одетых в эти длинные свободные блузы. Чарльз пожалел, что не умеет рисовать. Провинция, право же, очаровательна. Он повернулся к своему лакею.

— Честное слово, Сэм, в такой день хочется никогда не возвращаться в Лондон.

— Вот постоит еще на сквозняке, так, пожалуй, и не вернетесь, сэр.

Хозяин сердито на него взглянул. Они с Сэмом были вместе уже четыре года и знали друг друга гораздо лучше, чем иная — связанная предположительно более тесными узами — супружеская чета.

— Сэм, ты опять напился.

— Нет, сэр.

— Твоя новая комната лучше?

— Да, сэр.

— А харчи?

— Приличные, сэр.

— *Quod est demonstrandum*¹ В такое утро даже калека запляшет от радости. А у тебя на душе кошки скребут. *Ergo*², ты напился.

¹ Что и требовалось доказать (лат.).

² Следовательно (лат.).

Сэм опробовал острие бритвы на кончике мизинца с таким видом, словно собирался с минуты на минуту опробовать его на собственном горле или даже на горле своего насмешливо улыбающегося хозяина.

— Да тут эта девчонка, на кухне у миссис Трэнтер, сэр. Чтоб я терпел такое...

— Будь любезен, положи этот инструмент. И объясни толком, в чем дело.

— Вижу, стоит. Вон там, внизу.— Он ткнул большим пальцем в окно.— И орет на всю улицу.

— И что же именно, скажи на милость?

На лице Сэма выразилось негодование.

— «Эй, трубочист, почем нынче сажа?» — Он мрачно умолк.— Вот так-то, сэр.

Чарльз усмехнулся.

— Я знаю эту девушку. В сером платье? Такая уродина? — Со стороны Чарльза это был не слишком честный ход, ибо речь шла о девушке, с которой он раскланялся накануне,— прелестном создании, достойном служить украшением города Лайма.

— Не так чтоб уж совсем уродина. По крайности с лица.

— Ах, вот оно что. Значит, Купидон немилостив к вашему брату кокни.

Сэм бросил на него негодующий взгляд.

— Да я к ней и щипцами не притронусь. Коровница вонючая!

— Сэм, хоть ты неоднократно утверждал, что родился в кабаке...

— В соседнем доме, сэр.

— ...в непосредственной близости к кабаку... Мне бы все же не хотелось, чтобы ты употреблял кабацкие выражения в такой день, как сегодня.

— Да ведь обидно, мистер Чарльз. Все конюхи слышали.

«Все конюхи» включали ровно двух человек, из коих один был глух как пень, и потому Чарльз не выказал ни малейшего сочувствия. Он улыбнулся и знаком велел Сэму налить ему горячей воды.

— А теперь сделай милость, принеси завтрак. Я сегодня побреюсь сам. Да скажи, чтобы мне дали двойную порцию булочек.

— Слушаю, сэр.

Однако Чарльз остановил обиженного Сэма у дверей и погрозил ему кисточкой для бритья.

— Здешние девушки слишком робки, чтобы так дерзить столичным господам — если только их не раздражить. Я сильно подозреваю, Сэм, что ты вел себя фривольно.— Сэм смотрел на него разинув рот.— И если ты немедленно не подашь мне фриштык, я велю сделать фрикасе из задней части твоей жалкой туши.

После чего дверь захлопнулась, и не слишком тихо, Чарльз подмигнул своему отражению в зеркале. Потом вдруг прибавил себе лет десять, нахмурился и изобразил этакого солидного молодого отца семейства, сам снисходительно улыбнулся собственным ужимкам и неумеренному восторгу, задумался и стал влюбленно созерцать свою физиономию. Он и впрямь был весьма недурен: открытый лоб, черные усы, такие же черные волосы; когда он сдернул колпак, волосы растрепались,

и в эту минуту он выглядел моложе своих лет. Кожа у него, как и полагается, была бледная, хотя и не настолько, как у большинства лондонских денди,— в те времена загар вовсе не считался символом завидного социально-сексуального статуса, а, напротив, свидетельствовал лишь о принадлежности к низшим сословиям. Пожалуй, по ближайшем рассмотрении лицо это выглядело глуповатым. На Чарльза вновь накатилась слабая волна вчерашнего сплина. Без скептической маски, с которой он обычно появлялся на людях, собственная физиономия показалась ему слишком наивной, слишком незначительной. Всего только и есть хорошего, что греческий нос, спокойные серые глаза. Ну и, конечно, порода и способность к самопознанию.

Он принялся покрывать эту маловыразительную физиономию мыльной пеной.

Сэм был на десять лет моложе Чарльза; для хорошего слуги он был слишком молод и к тому же рассеян, вздорен и тщеславен, мнил себя хитрецом, любил паясничать и бездельничать, подпирать стенку, небрежно сунув в рот соломинку или веточку петрушки; любил изображать заядлого лошадирика или ловить решетом воробьев, когда хозяин тщетно пытался докричаться его с верхнего этажа.

Разумеется, каждый слуга-кокни по имени Сэм вызывает у нас в памяти бессмертный образ Сэма Уэллера, и наш Сэм вышел, конечно, из той же среды. Однако минуло уже тридцать лет с тех пор, как на мировом литературном небосклоне засверкали «Записки Пиквикского клуба». Интерес Сэма к лошадям, в сущности, был не глубок. Он скорее напоминал современного рабочего парня, который считает доскональное знание марок автомобилей признаком своего продвижения по общественной лестнице. Сэм даже знал, кто такой Сэм Уэллер, хотя книги не читал, а только видел одну из ее инсценировок; знал он также, что времена уже не те. Кокни его поколения далеко ушли от прежних, и если он частенько вертелся на конюшне, то лишь с целью показать провинциальным конюхам и трактирной прислуге, что он им не чета.

К середине века в Англии появилась совершенно новая порода денди. Существовала еще старая аристократическая разновидность — чахлые потомки Красавчика Браммела, известные под названием «щеголи»; но теперь их конкурентами по части искусства одеваться стали преуспевающие молодые ремесленники и слуги с претензией на особую доверенность хозяев, вроде нашего Сэма. «Щеголи» прозвали их «снобами», и Сэм являл собою великолепный образчик сноба в этом узком смысле. Он обладал отличным нюхом на моду — таким же острым, как «стиляги» шестидесятих годов нашего века,— и тратил большую часть своего жалованья на то, чтобы не отстать от новейших течений. Он отличался и другой особенностью, присущей этому новому классу,— изо всех сил старался усвоить правильное произношение.

К 1870 году пресловутый акцент Сэма Уэллера, эта извечная особенность лондонца из простонародья, был предметом не меньшего презрения снобов, чем буржуазных романистов, которые все еще продолжали

(и притом невпопад) уснащать им диалоги своих персонажей-кокни. Снобы вели жестокую борьбу со своим акцентом, и для нашего Сэма борьба эта чаще кончалась поражением, чем победой. Однако в его выговоре не было ничего смешного, напротив, он был предвестником социального переворота, чего Чарльз как раз и не понял.

Вероятно, это произошло потому, что Сэм вносил в его жизнь нечто весьма ему необходимое — ежедневную возможность повалить дурака, вновь превратиться в мальчишку-школьника и на досуге предаться своему любимому, хоть и весьма малопочтенному занятию — извергать (если можно так выразиться) дешевые остроты и каламбуры — вид юмора, с на редкость бесстыдной откровенностью основанный на преимуществах образования. И хотя может показаться, что манера Чарльза усугубляла и без того тяжкое бремя экономической эксплуатации; я должен отметить, что его отношение к Сэму отличалось известной теплотой и человечностью, что было намного лучше той глухой стены, которой столь многие нувориши в эпоху нуворишества отгораживались от своей домашней прислуги.

Конечно, за Чарльзом стояло не одно поколение людей, имевших опыт обращения со слугами; современные ему нувориши такого опыта не имели, более того, они сами нередко были детьми слуг. Чарльз не мог даже представить себе мир без прислуги. Нувориши могли, и это заставляло их предъявлять более жесткие требования к относительному статусу слуг и господ. Своих слуг они старались превратить в машины, тогда как Чарльз отлично знал, что его слуга — отчасти его сотоварищ, этаким Санчо Панса, персонаж низкой комедии, оттеняющий его возвышенный культ Эрнестины — Дульцинеи. Короче говоря, он держал при себе Сэма потому, что тот постоянно его забавлял, а не потому, что не нашлось «машины» получше.

Но разница между Сэмом Уэллером и Сэмом Фэрроу (то есть между 1836 и 1867 годами) состояла в следующем: первому его роль нравилась, второй с трудом ее терпел. Сэм Уэллер в ответ на «трубочиста» наверняка бы за словом в карман не полез. Сэм Фэрроу застыл, обиженно поднял брови и отвернулся.

8

Где прежде лес шумел, вздыхая,
Там океан теперь пролег;
Где днесь бурлит людской поток,
Там разливалась гладь морская.

Вовлечены в сей вечный труд,
Твердьни гор свой вид меняют:
Туманьясь, зыблются и тают
И облаками вдаль плывут.

А. Теннисон. In Memoriam (1850)

Но если в наши дни вы хотите одновременно ничего не делать и быть уважаемым — лучше всего притвориться, будто вы работаете над какой-то серьезной научной проблемой...

Лесли Стивен. Кембриджские заметки (1865)

В то утро мрачное лицо было не только у Сэма. Эрнестина проснулась в скверном расположении духа,

а оттого что день обещал быть прекрасным, оно стало еще хуже. О том, чтобы посвятить Чарльза в сущность ее недомогания — хотя и самого обыкновенного, — не могло быть и речи. И потому, когда он в десять часов утра почтительно явился с визитом, его встретила одна лишь миссис Трэнтер: Эрнестина плохо спала и хочет отдохнуть. Не придет ли он вечером к чаю, когда ей, наверное, станет лучше?

На заботливый вопрос, не послать ли за доктором, Чарльз получил вежливый отрицательный ответ, после чего откланялся. Приказав Сэму купить цветов и доставить их очаровательной больной, с разрешением и советом преподнести два-три цветочка молодой особе, столь презирающей трубочистов, Чарльз добавил, что в награду за это необременительное поручение он может целый день считать себя свободным, и стал думать, чем бы занять собственное свободное время.

Вопрос решился просто: разумеется, ради здоровья Эрнестины он поехал бы в любое место, но благодаря тому, что этим местом оказался Лайм-Риджис, выполнять предсвадебные обязанности было восхитительно легко. Стоунбэрроу, Черное болото, Вэрские утесы — все эти названия для вас, быть может, ничего не значат. Между тем Лайм-Риджис расположен в центре одного из редких обнажений породы, именуемой голубой леас. Для любителя живописных пейзажей голубой леас ничем не привлекателен. Уныло-серый по цвету, окаменелый ил по структуре, он не живописен, а уродлив. Вдобавок он еще и опасен, потому что его пласты хрупки и имеют тенденцию оползать, вследствие чего с этого отрезка леасового побережья длиной в каких-нибудь двенадцать миль за время его существования сползло в море больше земли, чем где-либо еще в Англии. Однако богатое содержание окаменелостей и неустойчивость сделали его Меккой для британских палеонтологов. В течение последних ста лет — если не больше — самый распространенный представитель животного мира на здешних берегах — это человек, орудующий геологическим молотком.

Чарльз уже побывал в одной из известнейших лаймских лавок той поры — в лавке древних окаменелостей, основанной Мэри Эннинг, замечательной женщиной, не получившей систематического образования, но одаренной способностью отыскивать хорошие — а в ту пору часто еще и не классифицированные — образцы. Она первой нашла кости *Ichthyosaurus platyodon*¹, и хотя многие тогдашние ученые с благодарностью использовали ее находку для упрочения собственной репутации, к величайшему стыду британской палеонтологии, ни одна здешняя разновидность не названа в ее честь *anningii*. Этой местной достопримечательности Чарльз платил данью уважения, а также наличными — за разнообразные аммониты и *Isocrina*², которые он приобретал для застекленных шкафчиков, стоявших по стенам его кабинета в Лондоне. Правда, ему пришлось испытать некоторое разочарование, ибо он в то время специализировался по ископаемым, которых в лавке было очень мало.

Предметом его изучения были окаменелые морские ежи. Их иногда называют панцирями (или тестами, от латинского *testa* — черепица, глиняный горшок), а в Америке — песочными долларами. Панцири бывают самой разнообразной формы, но они всегда идеально симметричны и отличаются тонкой штриховой текстурой. Независимо от их научной ценности (вертикальные серии пород в районе мыса Бичи-хед в начале 1860-х годов стали одним из первых материальных подтверждений теории эволюции), панцири очень красивы; очарование их состоит еще и в том, что попадаются они чрезвычайно редко. Можно рыскать много дней подряд и не наткнуться ни на одного морского ежа; но зато утро, когда вы найдете штуки две или три, станет поистине достопамятным. Быть может, Чарльза, как прирожденного дилетанта, который не знает, чем бы заполнить время, бессознательно привлекало именно это; были у него, разумеется, и научные соображения, и он вместе с другими поклонниками *Echinodermia*¹ возмущался, что ими до сих пор постыдно пренебрегали — обычное оправдание слишком больших затрат времени в слишком ограниченной области. Но так или иначе морские ежи были его слабостью.

Панцири морских ежей, однако, встречаются не в голубом леасе, а в напластованиях кремня, и нынешний хозяин лавки окаменелостей посоветовал Чарльзу искать их к западу от города, причем необязательно у самого берега. Через полчаса после визита к миссис Трэнтер Чарльз снова отправился на Кобб.

В тот день знаменитый мол отнюдь не пустовал. Здесь было много рыбаков — одни смолили лодки, другие чинили сети или возились с вершами для ловли крабов и омаров. Были здесь и представители более высоких слоев общества из числа приезжих и местных жителей; они прогуливались по берегу еще не утихшего, но уже не опасного моря. Чарльз заметил, что женщины, которая накануне стояла на конце мола, нигде не было видно. Впрочем, он тут же выбросил из головы и ее, и самый Кобб и быстрым упругим шагом, совсем не похожим на его обычную вялую городскую походку, двинулся вдоль подножья прибрежных утесов к цели своего путешествия.

Он был так тщательно снаряжен для предстоящего похода, что непременно вызвал бы у вас улыбку. На ногах его красовались грубые, подбитые гвоздями башмаки и парусиновые гетры, натянутые поверх толстых суконных брюк. Под стать им было узкое, до смешного длинное пальто, широкополая парусиновая шляпа неопределенного бежевого цвета, массивная ясеневая палка, купленная по дороге на Кобб, и необъятный рюкзак, из которого, если бы вам вздумалось его потрясти, высыпался бы тяжеленный набор молотков, всяких оберток, записных книжек, коробочек из-под пилуль, тесел и бог весть каких еще предметов. Нет ничего более для нас непостижимого, чем методичность викторианцев; лучше (и забавнее) всего она представлена в советах, на которые так щедры первые

¹ Плоскозубый ихтиозавр (лат.).

² Группа морских лилий (лат.).

¹ Иголкожие (лат.).

издания Бедекера. Невольно задаешься вопросом — как путешественники ухитрились извлекать из всего этого удовольствие? Почему, например, Чарльзу не пришло в голову, что легкая одежда куда как удобнее, а ходить по камням в башмаках, подбитых гвоздями, все равно что бегать по ним на коньках?

Да, нам смешно. Но, быть может, есть нечто достойное восхищения в этом несоответствии между тем, что удобно, и тем, что настоятельно рекомендуется. Здесь перед нами вновь предстает спор между двумя столетиями: обязаны мы следовать велениям долга¹ или нет? Если эту одержимость экипировкой, эту готовность к любым непредвиденным обстоятельствам мы сочтем просто глупостью, пренебрежением реального опыта, мы, я думаю, совершим серьезную — вернее даже легкомысленную — ошибку по отношению к нашим предкам: ведь именно люди, подобные Чарльзу, так же, как и он, с чрезмерным старанием одетые и экипированные, заложили основу всей современной науки. Их недомыслие в этом направлении было всего лишь признаком серьезности в другом, гораздо более важном. Они чувствовали, что текущие счета мироздания далеко не в порядке, что они позволили условностям, религии, социальному застою замутнить их окна, выходящие на действительность; короче говоря, они знали, что им надо многое открыть и что эти открытия чрезвычайно важны, ибо от них зависит будущее человечества. Мы же думаем (если только не живем в научно-исследовательской лаборатории), что открывать нам нечего, а чрезвычайно важно для нас лишь то, что имеет касательство к сегодняшнему дню человечества. Тем лучше для нас? Очень может быть. Но ведь последнее слово будет принадлежать не нам.

Поэтому я не стал бы смеяться в ту минуту, когда Чарльз, стуча молотком, нагибаясь и внимательно рассматривая все, что попадалось ему на пути, попытался в десятый раз за день перепрыгнуть с одного валуна на другой, поскользнулся и, к стыду своему, съехал вниз на спине. Это, впрочем, не слишком его огорчило, ибо день был прекрасен, леасовых окаменелостей попадалась уйма и кругом не было ни души.

Море искрилось, кроншнепы кричали. Стая сорокуликов, черно-белых, с красными лапками, летела впереди, возвещая о его приближении. Кое-где поблескивали скальные водоемы, и в уме у бедняги зашевелились еретические мысли: а не будет ли интереснее, нет, нет, ценнее, с точки зрения науки, заняться биологией моря? Быть может, бросить Лондон, обосноваться в Лайме... Но Эрнестина никогда на это не пойдет. Выдалась даже — о чем я рад вам сообщить — такая минута, когда Чарльза вдруг осенило, что он человек и ничто человеческое ему не чуждо.

¹ В доказательство того, что агностицизм и атеизм середины викторианского века (в отличие от современных) были тесно связаны с теологической догмой, я бы, пожалуй, привел знаменитое изречение Джорджа Элиота: «Бог непостижим, бессмертие неправдоподобно, долг же непререкаем и абсолютен». Добавим: становится тем более непререкаемым ввиду столь ужасающего двойного отклонения от веры. (Примеч. автора.)

Он осторожно огляделся и, убедившись, что никто его не видит, аккуратно снял тяжелые башмаки, чулки и гетры. На минуту как бы вновь превратившись в школьника, он хотел было вспомнить подходящую строку из Гомера, чтобы придать законченность поистине античной гармонии этого мгновенья, но тут внимание его отвлекла необходимость поймать маленького краба, который удирал с того места, где на его бдительные стебельчатые глаза пала огромная тень.

Возможно, презирая Чарльза за преувеличенную заботу об инструментарии, вы равным образом презираете его за отсутствие специализации. Следует, однако, помнить, что в те времена — в отличие от нынешних — никто еще не отмахивался от естественной истории, приравнивая ее к бегству от действительности — и, увы, слишком часто — в область чувств. Чарльз был знающим орнитологом и вдобавок ботаником. Вероятно, если иметь в виду только прогресс науки, ему следовало бы закрыть глаза на все, кроме окаменелых морских ежей, или посвятить всю свою жизнь проблеме распространения водорослей; но вспомните Дарвина, вспомните «Путешествие на *Бигле*». «Происхождение видов» — триумф обобщения, а не специализации, и если бы вам даже удалось доказать мне, что последняя была бы лучше для Чарльза — бездарного ученого, я все равно упорно твердил бы, что первая лучше для Чарльза-человека. Дело не в том, что дилетанты могут позволить себе совать нос куда угодно, — они просто обязаны совать нос куда угодно, и к чертям всех ученых тупиц, которые пытаются упрятать их в какой-нибудь тесный каменный мешок.

Чарльз называл себя дарвинистом, но сути дарвинизма он не понял. Как, впрочем, и сам Дарвин. Гениальность Дарвина состояла в том, что он опроверг Линнееву *Scala Naturae* — лестницу природы, краеугольным камнем которой, столь же важным для нее, как для теологии божественная сущность Христа, было положение: *nulla species nova* — новый вид возникнуть не может. Этот принцип объясняет страсть Линнея все классифицировать и всему давать названия, рассматривать все существующее как окаменелости. Сегодня мы видим, что это была заранее обреченная на провал попытка закрепить и остановить непрерывный поток, почему нам и кажется вполне закономерным, что сам Линней в конце концов сошел с ума: он знал, что находится в лабиринте, но не знал, что стены и коридоры этого лабиринта все время изменяются. Даже Дарвин так никогда и не сбросил шведские оковы; и Чарльза едва ли можно упрекнуть за мысли, которые теснились в его голове, когда он разглядывал пласты известняка в нависавших над ним утесах.

Он знал, что *nulla species nova* — чепуха, и все же видел в этих пластах чрезвычайно утешительную упорядоченность мироздания. Он мог бы, пожалуй, усмотреть также весьма актуальный социальный символ в том, как осыпаются эти серо-голубые скалы; но главное, что он открыл здесь, была своего рода незыблемость времени как некоего здания, в котором непреложные (а следовательно, божественно благодетельные, ибо кто может отрицать, что порядок —

наивысшее благо для человечества?) законы выстроились весьма удобно для выживания самых приспособленных и лучших, *exempli gratia*¹ Чарльза Смитсона, и вот он в этот чудесный весенний день одиноко бродит здесь, любознательный и пытливый, наблюдая, запоминая и с благодарностью принимая все вокруг. Конечно, в этой картине не доставало последствий крушения лестницы природы: ведь если возникновение новых видов все-таки возможно, старым зачастую приходится уступать им место. Исчезновение с лица земли отдельной особи Чарльз — как и любой викторианец — допускал. Но мысли об исчезновении с лица земли всего живого не было у него в голове точно так же, как не было в тот день даже самого крошечного облачка в небесах у него над головой; и тем не менее, снова напялив чулки, башмаки и гетры, он уже вскоре держал в руках весьма конкретный тому пример.

Это был прекрасный кусок леаса с отпечатками аммонитов, на редкость четкими — микрокосмы макрокосмов, взвихренные галактики, огненным колесом пронесшиеся по десятидюймовому обломку породы. Аккуратно пометив на этикетке дату и место находки, Чарльз, как мальчишка, играющий в классы, перепрыгнул из науки... на этот раз прямо в любовь. Он решил по возвращении подарить свою находку Эрнестине. Камень так красив, что непременно ей понравится, да и в конце концов скоро вернется к нему — вместе с ней. Более того, мешок у него за спиной заметно отяжелел, и потому его находка превращалась в подарок, добытый тяжким трудом. Долг, приятная необходимость плыть по течению эпохи, поднял свою суровую голову.

А с ним явилось и сознание того, что он шел гораздо медленней, чем думая. Он расстегнул пальто и достал охотничьи часы с серебряной крышкой. Два часа! Стремительно обернувшись, он увидел, что волны захлестывают края небольшого мыса примерно в миле от него. Он не боялся, что прилив отрежет ему обратный путь, потому что прямо над собой заметил крутую, но безопасную тропинку, которая, поднимаясь по склону утеса, терялась в густом лесу. Однако вернуться берегом было уже невозможно. Впрочем, он с самого начала хотел дойти до этой тропы, но только побыстрее, а потом забраться туда, где выходили на поверхность напластования кремня. Чтоб наказать себя за медлительность, он торопливо полез в гору, но в своем отвратительном толстом одеянии так вспотел, что вынужден был присесть и отдышаться. Услышав поблизости журчанье ручейка, он напился, намочил носовой платок, обтер себе лицо и стал осматриваться.

9

Такому сердцу, как твое, судьбою
Надолго быть любимым не дано;
Нет места в нем довольству и покою:
Неистовым огнем горит оно.

Мэтью Арнольд. Прощание (1852)

Я привел две наиболее очевидные причины, заставившие Сару Вудраф предстать перед судом миссис

¹ Например (лат.).

Поултни. Впрочем, она была не из тех, кто способен доискиваться до причин своих поступков, и к тому же было или должно было быть много иных причин, ибо репутация миссис Поултни в менее высоких сферах Лайма не могла остаться ей неизвестной. Целый день она пребывала в нерешительности, после чего отправилась просить совета у миссис Тальбот. Миссис Тальбот была женщина молодая и чрезвычайно добросердечная, но не слишком проницательная, и хотя она охотно взяла бы Сару обратно — во всяком случае, она уже предлагала это сделать, — ей было ясно, что Сара сейчас не может денно и нощно заботиться о своих подопечных, как того требует должность гувернантки. Но помочь ей она все-таки очень хотела.

Она знала, что Саре грозит нищета, и не спала ночами, воображая сцены из прочитанных в юности душещипательных романов, в которых умирающие с голоду героини замерзают на снегу у порога или мечутся в жару на убогом чердаке с протекающей крышей. Но одна картина — она реально существовала в виде иллюстрации к назидательной повести миссис Шервуд — вобрала в себя ее худшие опасения. Женщина, убегая от погони, бросается в пропасть с утеса. Вспышка молнии освещает зверские физиономии ее преследователей, на бледном лице несчастной застыло выражение смертельного ужаса, а ее черный плащ взметнулся вверх вороновым крылом неминуемой смерти.

Поэтому миссис Тальбот скрыла свои сомнения насчет миссис Поултни и посоветовала Саре согласиться. Когда бывшая гувернантка, расцеловав на прощанье малюток Поля и Виргинию, пошла в Лайм, она была уже обречена. Она положила на миссис Тальбот, а если умная женщина полагается на дуру, пусть даже самую добросердечную, то чего ей еще ожидать?

Сара и впрямь была умна, только ум ее был редкостного свойства — его, безусловно, нельзя было бы обнаружить посредством наших современных тестов. Он не сводился к способности аналитически мыслить или решать поставленные задачи, и весьма характерно, что единственным предметом, который давался ей с мучительным трудом, была математика. Не выражался он и в какой-либо особой сообразительности или остроумии, даже и в лучшую пору ее жизни. Скорее это была какая-то сверхъестественная способность — сверхъестественная для женщины, никогда не бывавшей в Лондоне и не вращавшейся в свете, — определять истинную цену других людей, понимать их в полном смысле этого слова.

Она обладала своеобразным психологическим эквивалентом чутья, присущего опытному барышнику, — способностью с первого взгляда отличить хорошую лошадь от плохой; иными словами, она, как бы перескочив через столетие, родилась с компьютером в сердце. Именно в сердце, ибо величины, которые она вычисляла, принадлежали сфере скорее сердечной, нежели умственной. Она инстинктивно распознавала необоснованность доводов, мнимую ученость, предвзятость суждений, с которыми сталкивалась, но она

видела людей насквозь и в более тонком смысле. Подобно компьютеру, неспособному объяснить происходящие в нем процессы, она, сама не зная почему, видела людей такими, какими они были на самом деле, а не такими, какими притворялись. Мало того, что она верно судила о людях с нравственной точки зрения. Ее суждения были гораздо глубже, и если бы она руководствовалась одной только нравственностью, она и вела бы себя по-другому — недаром в Уэймуте она вовсе не останавливалась у своей родственницы.

Врожденная интуиция была первым проклятием ее жизни; вторым было образование. Образование, надо сказать, довольно посредственное, какое можно получить в третьеразрядном эксетерском пансионе для молодых девиц, где она днем училась, вечерами же — а порой и за полночь — шила и штопала, чтоб оплатить учебу. С соученицами она не дружила. Они задирали перед нею нос, а она опускала перед ними глаза, но видела их насквозь. Вот почему она оказалась гораздо начитаннее в области изящной словесности и поэзии (два прибежища для одиноких душ), чем большинство ее товарок. Чтение заменяло ей жизненный опыт. Сама того не сознавая, она судила людей скорее по меркам Вальтера Скотта и Джейн Остин, нежели по меркам, добытым эмпирическим путем, и, видя в окружающих неких литературных персонажей, полагала, что порок непременно будет наказан, а добродетель восторжествует. Но — увы! — то, чему она таким образом научилась, было сильно искажено тем, чему ее учили. Придав ей лоск благородной дамы, ее сделали настоящей жертвой кастового общества. Отец вытолкнул ее из своего сословия, но не смог открыть ей путь в более высокое. Для молодых людей, с которыми она стояла на одной ступени общественной лестницы, она была теперь слишком хороша, а для тех, на чью ступень она хотела бы подняться, — осталась слишком заурядной.

Отец Сары, тот самый, которого приходский священник Лайма назвал «человеком наилучших правил», обладал, напротив, полным набором правил наилучших. Он определил свою единственную дочь в пансион не потому, что заботился о ее будущем, а потому, что был одержим собственным происхождением. В четвертом поколении с отцовской стороны нашлись предки, в чьих жилах, несомненно, текла дворянская кровь. Было установлено даже отдаленное родство с семейством Дрейков — обстоятельство само по себе несущественное, но с годами заставившее его колеблительно уверовать, будто он происходит по прямой линии от знаменитого сэра Френсиса. Вудрафы действительно некогда владели чем-то вроде поместья на холодной зеленой ничьей земле между Дартмуром и Эксмуром. Отец Сары трижды видел его собственными глазами и всякий раз возвращался на маленькую ферму, которую арендовал в обширном имении Меритонов, предаваться размышлениям, строить планы и мечтать.

Возможно, он был разочарован, когда дочь его в возрасте восемнадцати лет вернулась из пансиона — кто знает, какого золотого дождя он ожидал? — и, сидя против него за столом, смотрела на него и слушала его похвальбу, смотрела с невозмутимой сдержан-

ностью, которая раздражала и выводила его из себя, как дорогой, но непригодный в хозяйстве инвентарь (он был родом из Девоншира, а для девонширцев деньги — это все), и в конце концов довела до сумасшествия. Он отказался от аренды и купил себе ферму; но купил слишком дешево, и сделка, которую он считал ловкой и выгодной, оказалась катастрофически невыгодной. Несколько лет он бился, пытаясь сохранить одновременно и закладную, и свои нелепые аристократические замашки, а затем сошел с ума в прямом смысле слова, и его посадили в дорчестерский дом для умалишенных. Там он спустя год и умер. К этому времени Сара уже год сама зарабатывала себе на жизнь — сначала в одном семействе в Дорчестере, чтобы быть поближе к отцу. После его смерти она поступила к Тальботам.

Наружность Сары сразу бросалась в глаза, и потому, несмотря на отсутствие приданого, у нее находились поклонники. Но всякий раз начинало действовать ее первое врожденное проклятье — она видела насквозь этих слишком самонадеянных претендентов на ее руку и сердце. Она видела их скаредность, их надменно-покровительственную манеру, их жалкую филантропию, их глупость. Таким образом, Саре была неизбежно уготована та самая участь, от которой природа, затратившая столько миллионов лет на ее создание, несомненно стремилась ее избавить, — участь старой девы.

Теперь давайте вообразим невозможное, а именно, что миссис Поултни, как раз в тот день, когда Чарльз в высоконаучных целях удрал от обременительных обязанностей жениха, решила составить список достоинств и недостатков Сары. Во всяком случае, такое предположение вполне допустимо, потому что в тот день Сары, или мисс Сары, как величали ее в Мальборо-хаусе, не было дома.

Начнем с более приятной графы счета — с прихода. Первым, несомненно, оказался бы пункт, которого при заключении договора год назад меньше всего можно было ожидать. Выглядеть он мог бы так: «Более приятная атмосфера в доме». Хотите верьте, хотите нет, но никому из прислуги (статистика показывает, что в прошлом это чаще всего случалось с прислугой женского пола) за время пребывания Сары в доме не указали на дверь.

Оно, это ни с чем не сообразное изменение, началось однажды утром, спустя каких-нибудь две-три недели после того, как мисс Сара вступила в должность, то есть приняла на себя ответственность за душу миссис Поултни. Хозяйка со свойственным ей нюхом обнаружила грубейшее упущение: горничная верхних покоев, обязанная по вторникам неукоснительно поливать папоротники во второй гостиной (у миссис Поултни их было две — одна для нее самой, другая для гостей), пренебрегла своими обязанностями. Папоротники продолжали всепрощающе зеленеть, миссис Поултни, напротив, угрожающе побелела. Преступницу вызвали на допрос. Она призналась, что забыла. Миссис Поултни могла бы, сделав над собой усилие, посмотреть

на это сквозь пальцы, но в досье горничной уже числилось несколько подобных прегрешений. Ее час пробил, и миссис Поултни, подобно псу, который, повинувшись суровому долгу, вонзает зубы в ногу вора, принялась бить в погребальный колокол.

— Я готова терпеть многое, но этого я не потерплю.

— Я больше не буду, мэм.

— В моем доме вы безусловно больше не будете.

— О, мэм! Простите, пожалуйста, мэм!

Миссис Поултни позволила себе несколько секунд упиваться слезами горничной.

— Миссис Фэрли выдаст вам ваше жалованье.

Мисс Сара присутствовала при этом разговоре; потому что миссис Поултни как раз диктовала ей письма, большей частью к епископам или, во всяком случае, таким тоном, каким принято обращаться к епископам. Она вдруг задала вопрос, который произвел впечатление внезапно разорвавшейся бомбы. Начать с того, что впервые в присутствии миссис Поултни она задала вопрос, не имевший прямого отношения к ее обязанностям. Во-вторых, он выражал скрытое несогласие с приговором хозяйки. В-третьих, он был обращен не к миссис Поултни, а к горничной.

— Ты нездорова, Милли?

Оттого ли, что в этой комнате прозвучал участливый голос, оттого ли, что девушке стало дурно, она, к ужасу миссис Поултни, опустилась на колени, замотала головой и закрыла лицо руками. Мисс Сара бросилась к ней и тотчас узнала, что горничная и в самом деле нездорова, что за последнюю неделю она дважды падала в обморок, боялась кому-нибудь сказать...

Когда спустя некоторое время мисс Сара вернулась из комнаты, где спали служанки и где теперь уложили в постель Милли, миссис Поултни в свою очередь задала поразительный вопрос:

— Что же мне теперь делать?

Мисс Сара посмотрела ей в глаза, и то, что выразил ее взгляд, сделал ее последующие слова не более чем уступкой условностям.

— То, что вы сочтете нужным, сударыня.

Так редкостный цветок — прощение — незаконно прижился в Мальборо-хаусе, а когда доктор, осмотрев горничную, нашел у нее бледную немочь, миссис Поултни открыла некое извращенное наслаждение в том, чтобы казаться по-настоящему доброй. Последовало еще два-три случая, хотя и не столь драматичных, но приблизительно в том же духе; правда, всего лишь два-три, потому что Сара взяла на себя труд самостоятельно совершать предупредительный обход. Она раскусила миссис Поултни и вскоре научилась вертеть ею по своему усмотрению, как ловкий кардинал при слабохарактерном папе, хотя и в более благородных целях.

Вторым, менее неожиданным, пунктом в гипотетическом списке миссис Поултни был бы, наверное, «ее голос». Если мирскими потребностями слуг хозяйка порою пренебрегала, то об их духовном благополучии она пеклась неусыпно. По воскресеньям всем вменялось в обязанность дважды посетить церковь; сверх того, в доме ежедневно служили заутреню — пели гимн,

читали отрывок из Библии и молитвы — священнодействие которым величественно руководила сама хозяйка. Ее, однако, всякий раз бесило, что даже самые грозные ее взгляды не могли привести прислугу в состояние полного смирения и раскаяния, которого, как полагала миссис Поултни, должен требовать от челядинцев их господь (не говоря о ее собственном). Их лица, как правило, выражали смесь страха перед хозяйкой и непроходимой тупости, свойственных скорее стаду перепуганных овец, нежели сонму раскаявшихся грешников. Но с появлением Сары все изменилось.

Голос у нее действительно был очень красивый — чистый и звучный, хотя всегда омраченный скорбью и часто проникнутый глубоким чувством, но главное — голос этот был искренним. Впервые в своем неблагоприятном мире миссис Поултни увидела на лицах слуг выражение непритворного внимания, а порою и подлинной веры.

Это было прекрасно, но требовалось еще пройти второй круг богослужения. Вечером слугам разрешалось молиться в кухне под равнодушным оком и под аккомпанемент скрипучего деревянного голоса миссис Фэрли. Наверху миссис Поултни слушала чтение из Библии в одиночестве, и именно во время этой интимной церемонии голос Сары звучал и воздействовал всего сильнее. Раза два ей удалось кое-что совсем уж невероятное — на опухшие непреклонные глаза миссис Поултни навернулись слезы. Эффект этот, на который Сара отнюдь не рассчитывала, проистекал из глубокого различия между нею и хозяйкой. Миссис Поултни верила в бога, которого никогда не существовало, а Сара знала бога, который, напротив, существовал вполне реально.

В отличие от многих почтенных священнослужителей, чей голос, помимо их воли, производит брехтовский эффект отчуждения, голос Сары оказывал действие прямо противоположное: она говорила о страданиях Христа, человека, рожденного в Назарете, говорила так, словно историческое время остановилось, а порою, когда в комнате было темно, и она, казалось, почти забывала о присутствии миссис Поултни, — так, словно сама видела его перед собою распятым на кресте. Однажды, дойдя до слов «*Lama, lama, sabachthane me*»¹, она запнулась и умолкла. Обернувшись к ней, миссис Поултни увидела, что лицо ее залито слезами. Это мгновение избавило Сару от множества неприятностей в дальнейшем и, быть может, — ибо старуха встала и коснулась рукою поникшего плеча девушки — в один прекрасный день вызволит душу миссис Поултни из адского пламени, в котором она теперь уже основательно изжарилась.

Я рискую выставить Сару ханжой. Но она не была знатоком теологии, и, подобно тому как она видела насквозь людей, она сквозь вульгарные витражи видела заблуждения и узкий педантизм викторианской церкви. Она видела страдания и молилась о том, чтобы им наступил конец. Я не знаю, кем она могла бы стать в наш век, но уверен, что много веков назад она

¹ «Боже, Боже, зачем ты меня покинул» (арам.).

стала бы святой или возлюбленной какого-нибудь императора. И не вследствие своей религиозности или сексуальности, а вследствие редкостного сплава прозорливости и эмоциональности, который составлял сущность ее натуры.

Были еще и другие пункты: Сара обладала способностью — совершенно, неслыханной и почти уникальной — не слишком часто действовать на нервы миссис Поултни, умела ненавязчиво взять на себя различные домашние обязанности и была искусной рукодельницей.

Ко дню рождения миссис Поултни Сара подарила ей салфеточку для спинки кресла (не потому, что какое-либо из кресел, в которых восседала миссис Поултни, нуждалось в защите от фиксатуара, а потому, что в те времена все кресла без подобного аксессуара казались какими-то голыми), вышитую по краям изящным узором из папоротников и ландышей. Салфеточка очень понравилась миссис Поултни; к тому же она робко, но неизменно — возможно, Сара и впрямь была своего рода ловким кардиналом — всякий раз, как людоедша, всходила на свой трон, напоминала ей, что ее подопечная все-таки достойна снисхождения. Эта скромная вещичка сослужила Саре ту же службу, что бессмертная дрофа Чарльзу.

Наконец — и это оказалось самой тяжелой мукой для жертвы — Сара выдержала испытание религиозными трактатами. Подобно многим жившим в уединении богатым вдовам викторианской поры, миссис Поултни верила в чудодейственную силу трактатов. Пусть лишь один из тех десяти, кто эти трактаты получал, мог их прочесть (а многие вообще не умели читать), пусть тот один из десяти, кто знал грамоту и даже сумел их прочесть, так и не понял, о чем ведут речь их преподобные авторы... но всякий раз, когда Сара отправлялась раздавать очередную пачку, миссис Поултни видела, как на ее текущий счет в небесах записывают мелом соответственное число спасенных душ; и, кроме того, она видела, что Подруга французского лейтенанта публично исполняет епитимью, и это тоже была улада. Остальные жители Лайма, во всяком случае, из числа менее состоятельных, тоже это видели и выказывали Саре гораздо больше сочувствия, чем могла себе представить миссис Поултни.

Сара сочинила короткую формулу: «От миссис Поултни. Пожалуйста, прочтите и сохраните в своем сердце». При этом она смотрела в глаза хозяину дома. Ехидные улыбочки скоро угасли, а злые языки умолкли. Я думаю, что из ее глаз люди узнали больше, чем из напечатанных убористым шрифтом брошюр, которые им навязывали.

Но теперь нам следует перейти к статьям расхода. Первый и главный пункт, несомненно, гласил бы: «Гуляет одна». Как было оговорено при найме, мисс Саре раз в неделю предоставлялось свободное время во второй половине дня, что миссис Поултни считала достаточно ясным доказательством ее привилегированного положения по сравнению с горничными; впрочем, такая щедрость объяснялась лишь необходимостью разносить трактаты, а также советом священни-

ка. Два месяца все как будто шло хорошо. Потом в одно прекрасное утро мисс Сара не явилась к утренней службе, а когда за ней послали горничную, оказалось, что она не вставала с постели. Миссис Поултни отправилась к ней сама. Сара опять была в слезах, что на этот раз вызвало у миссис Поултни лишь раздражение. Однако она послала за доктором. Тот долго беседовал с Сарой наедине. Спустившись к раздосадованной миссис Поултни, он прочел ей краткую лекцию о меланхолии — для своего времени и местопребывания он был человеком передовых взглядов — и велел предоставить грешнице большую свободу и возможность дышать свежим воздухом.

— Если вы утверждаете, что это совершенно необходимо.

— Да, сударыня, утверждаю. И весьма категорически. В противном случае я снимаю с себя всякую ответственность.

— Это крайне неудобно. — Однако доктор грубо молчал. — Я согласна отпускать ее два раза в неделю.

В отличие от приходского священника, доктор Гроган не особенно зависел от миссис Поултни в финансовом отношении, а уж если сказать всю правду, в Лайме не было человека, свидетельство о смерти которого он подписал бы с меньшим прискорбием. Но он подавил свою желчь, напомнив миссис Поултни, что во второй половине дня она всегда спит, и притом по его же строжайшему предписанию. Таким образом, Сара обрела ежедневную полусвободу.

Следующая запись в графе расходов гласила: «Не всегда выходит к гостям». Здесь миссис Поултни столкнулась с поистине неразрешимой дилеммой. Она, разумеется, хотела выставить напоказ свою благотворительность, а следовательно, и Сару. Но лицо Сары весьма неприятно действовало на гостей. Ее скорбь выражала упрек; ее крайне редкое участие в разговоре — неизменно вызванное каким-либо вопросом, обязательно требующим ответа (гости поумнее скоро научились адресоваться к компаньонке-секретарше с замечаниями сугубо риторического свойства) — отличалось неуместной категоричностью, и не потому, что Сара не желала поддерживать беседу, а потому, что в ее невинных замечаниях заключался простой, то есть здравый, взгляд на предмет, который мог питаться лишь качествами, противоположными простоте и здравому смыслу. При этом она сильно напоминала миссис Поултни закованный в цепи труп казненного преступника — в дни ее юности их вывешивали напоказ в назидание другим.

И здесь Сара вновь выказала свои дипломатические способности. Во время визитов некоторых старинных знакомых хозяйки она оставалась; при появлении прочих она либо уходила через несколько минут, либо незаметно скрывалась, как только о них докладывали, и еще прежде, чем их успевали ввести в гостиную. Потому-то Эрнестина ни разу и не встретила ее в Мальборо-хаусе. Это по крайней мере давало миссис Поултни возможность сетовать на то, сколь тяжкий крест она несет, хотя исчезновение или отсутствие самого креста косвенно намекало на ее

неспособность таковой нести, что было весьма досадно. Но едва ли Сару можно за это винить.

Однако худшее я приберег напоследок. Это было вот что: «Все еще выказывает привязанность к своему соблазнителю».

Миссис Поултни еще не раз пыталась выведать как подробности грехопадения, так и нынешнюю степень раскаяния в оном. Ни одна мать-игуменья не могла бы упорнее домогаться исповеди какой-нибудь заблудшей овечки из своего стада. Но Сара была чувствительна, как морской анемон: с какой бы стороны миссис Поултни ни подступала к этой теме, грешница тотчас догадывалась, к чему она клонит, а ее ответы на прямые вопросы если не дословно, то по существу повторяли сказанное ею на первом допросе.

Здесь следует заметить, что миссис Поултни выезжала из дому очень редко, а пешком не выходила никогда; ездила она только в дома лиц своего круга; так что за поведением Сары вне дома ей приходилось следить с помощью чужих глаз. К счастью для нее, пара таких глаз существовала; более того, разум, этими глазами управлявший, был движим завистью и злобой, и потому его обладательница регулярно и с удовольствием поставляла доносы ограниченной в своих передвижениях хозяйке. Этой шпионкой была, разумеется, не кто иная, как миссис Фэрли. Несмотря на то, что она вовсе не любила читать вслух, ее оскорбило понижение в должности, и хотя Сара была с нею безукоризненно любезна и всячески старалась показать, что не посягает на должность экономки, столкновения были неизбежны. Миссис Фэрли ничуть не радовалась, что у нее стало меньше работы — ведь это значило, что ее влияние тоже уменьшилось. Спасение Милли — и другие случаи более осторожного вмешательства — снискало Саре популярность и уважение прислуги, и быть может, экономка оттого и злобствовала, что не имела возможности дурно отзываться о компаньонке-секретарше в присутствии своих подчиненных. Она была обидчива и раздражительна, и единственное ее удовольствие состояло в том, чтобы узнавать самое худшее и ожидать самого худшего, и потому она постепенно возненавидела Сару лютой ненавистью.

Она была очень хитра и потому не показывала этого миссис Поултни. Напротив, она притворялась, будто очень жалеет «бедную мисс Вудраф», и доносы ее были обильно приправлены словами вроде «боюсь» и «опасаюсь». Однако у нее была отличная возможность шпионить — она не только постоянно отлучалась в город по делам службы, но притом еще располагала широкой сетью родственников и знакомых. Им она намекнула, что миссис Поултни желает — разумеется, из наилучших, в высшей степени христианских побуждений — знать, как ведет себя мисс Вудраф за пределами высоких каменных стен, окружавших сад Мальборо-хауса. Поэтому — а Лайм-Риджис в ту пору (как, впрочем, и теперь) кишел сплетнями, как синий дорсетский сыр личинками мух — что бы Сара в свое свободное время ни говорила, куда бы ни ходила, в сгущенных красках и в превратно истолкованном виде тотчас становилось известно экономке.

Маршрут Сары — когда ее не заставляли раздавать трактаты — был очень прост; во второй половине дня она всегда совершала одну и ту же прогулку: вниз по крутой Паунд-стрит на крутую Брод-стрит и оттуда к Воротам Кобб, квадратной террасе над морем, которая не имеет ничего общего с молом Кобб. Там она останавливалась у стены и смотрела на море, но обычно недолго — не дольше, чем капитан, который, выйдя на мостик, внимательно изучает обстановку, — после чего либо сворачивала на площадь Кокмойл, либо направлялась в другую сторону, на запад, по тропе длиной в полмили, ведущей берегом тихой бухты к самому Коббу. С площади она почти всегда заходила в приходскую церковь и несколько минут молилась (обстоятельство, которое доносчица ни разу не сочла достойным упоминания), а потом шла по дороге, ведущей от церкви к Церковным утесам, чьи травянистые склоны поднимаются к осыпавшимся стенам на краю Черного болота. Здесь можно было видеть, как она, то и дело оглядываясь на море, идет к тому месту, где тропа сливается со старой дорогой на Чармут, ныне давно уже размытой, а оттуда возвращается обратно в Лайм. Эту прогулку она совершала, когда на Коббе бывало слишкомлюдно, но если из-за плохой погоды или по иной причине мол пустовал, она обыкновенно поворачивала к нему, доходила до его оконечности и останавливалась там, где Чарльз впервые ее увидел и где она, как полагали, чувствовала себя ближе всего к Франции.

Все это, разумеется, в искаженном виде и в самом черном свете неоднократно доводилось до сведения миссис Поултни. Однако в то время она еще наслаждалась своей новой игрушкой и выказывала ей такое расположение, на какое только была способна ее угрюмая и подозрительная натура. Тем не менее она не преминула призвать игрушку к ответу.

— Мисс Вудраф, мне сказали, что во время прогулок вас всегда видят в одних и тех же местах. — Под ее осуждающим взглядом Сара опустила глаза. — Вы смотрите на море. — Сара по-прежнему молчала. — Я не сомневаюсь, что вы раскаиваетесь. В ваших теперешних обстоятельствах ничего другого и быть не может.

Сара поняла намек.

— Я вам очень благодарна, сударыня.

— Речь идет не о вашей благодарности мне. Есть высший судья, и мы всем обязаны ему.

— Мне ли об этом не знать? — тихо промолвила девушка.

— Несведущим людям может показаться, что вы упорствуете в своем грехе.

— Те, кто знают мою историю, не могут так думать, сударыня.

— Однако они именно так и думают. Говорят, что вы ждете парусов Сатаны.

Сара встала и подошла к окну. Начиналось лето, аромат чубушника и сирени сливался с пением черных дроздов. Бросив короткий взгляд на море, от которого ей приказывали отречься, она обернулась к хозяйке, неумолимо восседавшей в своем кресле, словно королева на троне.

— Вы хотите, чтобы я ушла от вас, сударыня?
Миссис Поултни внутренне содрогнулась. Прямота Сары еще раз потушила ее разгоравшуюся злобу. Этот голос, эти чары, к которым она так пристрастилась. Хуже того — она может лишиться процентов, которые нарастают на ее счету в небесных гроссбухах. Тон ее смягчился.

— Я хочу, чтобы вы доказали, что вырвали из сердца этого... этого человека. Я знаю, что это так. Но вы должны это доказать.

— Как же мне это доказать?

— Гуляйте в других местах. Не выставляйте напоказ свой позор. Хотя бы потому, что я вас об этом прошу.

Сара стояла, опустив голову, и молчала. Потом она посмотрела в глаза миссис Поултни и впервые после своего появления в доме еле заметно улыбнулась.

— Я выполню ваше желание, сударыня.

На языке шахмат это можно было назвать хитроумной жертвой, ибо миссис Поултни тут же великодушно объявила, что вовсе не хочет совершенно лишать Сару целебного морского воздуха и что время от времени она может погулять у моря, но только не обязательно же всегда у моря — и пожалуйста, не стойте и не смотрите в одну точку. Короче говоря, это была сделка между двумя одержимыми. Предложение Сары отказаться от места заставило обеих, каждую по-своему, посмотреть в глаза правде.

Сара выполнила то, что от нее требовали, по крайней мере в части, касавшейся маршрута ее прогулок. Теперь она очень редко ходила на Кобб, но если ей все же случалось там оказаться, она порой позволяла себе «стоять и смотреть в одну точку», как в описанный нами день. В конце концов, окрестности Лайма изобилуют тропами, и редко с какой не открывается вид на море. Если бы помыслы Сары сосредоточивались только на этом, ей достаточно было гулять по лужайкам Мальборо-хауса.

Итак, в течение многих месяцев доносчице приходилось нелегко. Она не пропустила ни единого случая, когда Сара стояла и смотрела в одну точку, но теперь они были редки, а Сара к этому времени обрела в глазах миссис Поултни такой ореол страдания, который избавлял ее от сколько-нибудь серьезных нареканий. И ведь в конце концов, как нередко напоминали друг другу шпионка и ее госпожа, несчастная Трагедия безумна.

Вы, разумеется, угадали правду: если она и была безумна, то в гораздо меньшей степени, чем это казалось... или, во всяком случае, не в том смысле, как это все считали. Она выставляла напоказ свой грех с определенной целью, а люди, которые поставили себе цель, знают, когда она уже близка, и они могут на некоторое время позволить себе передышку.

Но в один прекрасный день, недели за две до начала моего рассказа, экономка явилась к миссис Поултни с таким видом, словно ей предстояло объявить хозяйке о смерти ее ближайшей подруги. От волнения у нее даже со скрипом распирало корсет.

— Я должна сообщить вам неприятную новость, сударыня.

Миссис Поултни привыкла к этой фразе, как рыбак к штормовому сигналу, но не нарушила установившуюся форму.

— Надеюсь, речь идет не о мисс Вудраф?

— О, если б это было так, сударыня.— Экономка вперила в госпожу мрачный взгляд, словно желая убедиться, что повергла ее в полнейшее смятение.— Но боюсь, что долг велит мне сказать вам об этом.

— Никогда не следует бояться того, что велит нам долг.

— Разумеется, сударыня.

Однако губы ее все еще были плотно сжаты, и если бы при сем присутствовал кто-то третий, он наверняка задался бы вопросом, какое же чудовищное открытие сейчас воспоследует. Например, что Сара, раздевшись донага, плясала в алтаре приходской церкви — никак не меньше.

— Она взяла себе привычку гулять по Вэрской пустоши, сударыня.

Только и всего! Миссис Поултни, однако, так не считала. С ее ртом произошло нечто небывалое. У нее отвисла челюсть.

10

Ресницы один только раз подняла —
И робко и нежно зарделась, со мной
Нечаянно встретясь глазами...

А. Теннисон. Мод (1855)

...Зеленые ущелья среди романтических скал, где роскошные лесные и фруктовые деревья свидетельствуют, что не одно поколение ушло в небытие с тех пор, как первый горный обвал расчистил для них место, где глазу открывается такая изумительная, такая чарующая картина, которая вполне может затмить подобные ей картины прославленного острова Уайт...

Джейн Остин. Убеждение

На шесть миль к западу от Лайм-Риджиса в сторону Эксмута простирается один из самых удивительных приморских пейзажей Южной Англии. С воздуха он ничем не примечателен; заметно лишь, что, если на остальной части побережья поля доходят до самого края утесов, то здесь они кончаются почти за милю от них. Обработанные участки зелеными и красно-бурыми клетками в веселом беспорядке врываются в темный каскад деревьев и кустов. Крыш нигде нет. Если лететь на небольшой высоте, видно, что местность здесь очень обрывиста, изрезана глубокими ущельями, а среди пышной листвы, подобно стенам рухнувших замков, громоздятся причудливые башни и утесы из мела и кремня. С воздуха... однако, если вы придете сюда пешком, эта на первый взгляд незначительная чаша странным образом примет колоссальные размеры. Люди блуждали здесь часами, а когда им показывали по карте, где они заблудились, не могли понять, почему так велико было охватившее их чувство одиночества, а в дурную погоду — и отчаяния.

Береговые оползневые террасы представляют собой очень крутой склон длиной в одну милю, возникший вследствие эрозии отвесных древних скал. Плоские

участки здесь так же редки, как посетители. Но самая эта крутизна как бы поворачивает террасы и все, что на них растет, прямо к солнцу и, в сочетании с водой из многочисленных ручьев, которые и вызвали эрозию, придает местности ее ботаническое своеобразие: здесь можно встретить каменный дуб, дикое земляничное дерево и другие редкие для Англии породы деревьев; гигантские ясени и буки; зеленые бразильские ущелья, густо увитые плющом и лианами дикого ломоноса; папоротник-орляк, достигающий семи-восьми футов в высоту; цветы, которые распускаются на месяц раньше, чем во всей округе. Летом эти места больше всех других в стране напоминают тропические джунгли. Как всякая земля, которую никогда не населяли и не обрабатывали люди, она полна своих тайн, своих теней и опасностей — опасностей с геологической точки зрения, в прямом смысле слова, ибо здесь попадаются трещины и предательские обрывы, грозящие страшной бедой, да еще в таких местах, где человек, сломавший ногу, может хоть целую неделю звать на помощь, и никто его не услышит. Как ни странно, сто лет назад здесь было менее безлюдно, чем сегодня. Сейчас на террасах нет ни единого дома; в 1867 году их было довольно много и в них ютились лесничие, лесорубы и свинопасы. Косулям, присутствие которых верный признак того, что люди сюда не заглядывают, в ту пору жилось далеко не так спокойно. Ныне террасы вернулись в состояние первобытной дикости. Стены домов рухнули и превратились в заросшие плющом развалины, старые тропинки исчезли; поблизости нет ни одного автомобильного шоссе, а единственная пересекающая эти места дорога часто бывает непроходима. И это закреплено парламентским актом — теперь здесь национальный заповедник. Не все еще принесено в жертву соображениям практической выгоды.

Именно сюда, в эти английские сады Эдема, и попал Чарльз 29 марта 1867 года, взобравшись вверх по тропе с берега бухты Пинхей; это и было то самое место, восточная часть которого называлась Вэрской пустошью.

Утолив жажду и мокрым платком освежив лицо, Чарльз начал глубокомысленно обозревать окрестности. По крайней мере он попытался глубокомысленно их обозреть; но небольшой зеленый склон, на котором он сидел, открывшаяся его взору панорама, звуки, запахи, нетронутая дикая растительность и весеннее изобилие природы привели его в антинаучное состояние.

В траве золотились звездочки первоцветов и чистотела, лужайку белоснежной свадебной пеленой окаймлял цветущий терн, а там, где победоносно вздымала молодые зеленые побеги бузина, затенявшая мшистые берега ручья, из которого он только что напился, густо разрослись адокса и кислица — самые нежные цветы английской весны. Выше по склону белели головки ветрениц, а за ними тянулись темно-зеленые перья гадючьего лука. Где-то вдали в ветвях высокого дерева стучал дятел, над головою Чарльза тихонько посвистывали снегири, и во всех кустах и кронах пели только что прилетевшие пеночки-веснички. Обернувшись назад, он увидел синеву моря, которое теперь плескалось далеко

внизу, и все полукружье залива Лайм, окаймленное грядою-утесов,— уходя вдаль, они все уменьшались и наконец сливались с изогнутой, как длинная желтая сабля, Чезилской косой, чья дальняя оконечность касалась Портленд-Билла, этого своеобразного английского Гибралтара, что вклинился узкой серой тенью между лазурью неба и лазурью моря.

Такие картины удавались художникам одной-единственной эпохи — эпохи Возрождения; по такой земле ступают персонажи Боттичелли, такой воздух полнится песнями Ронсара. Независимо от сознательных целей и намерений этой культурной революции, ее жестоких деяний и ошибок, Возрождение по существу своему было просто-напросто весенним концом одной из самых суровых зим цивилизации. Оно покончило с цепями, барьерами, границами. Его единственный девиз гласил: все сущее прекрасно. Короче говоря, Возрождение было всем тем, чем век Чарльза не был; но не подумайте, что стоявший над морем Чарльз этого не знал. Правда, пытаюсь объяснить охватившее его смутное ощущение нездоровья, несостоятельности, ограниченности, он обращался к более близкому прошлому — к Руссо, к младенческим мифам о Золотом Веке и Благородном Дикаре. Иными словами, пытался объяснить неспособность своего века понять природу невозможностью вернуться обратно в легенду. Он говорил себе, что слишком избалован, слишком испорчен цивилизацией, чтобы вновь слиться с природой, и это наполняло его печалью, приятной, сладостно-горькой печалью. Ведь он был викторианцем. Едва ли он мог увидеть то, что сами мы — причем располагая гораздо более широкими познаниями и уроками философии экзистенциализма — только-только начинаем понимать, а именно: что желание удержать и желание наслаждаться взаиморазрушающи. Ему следовало бы сказать себе: «Я обладаю этим сейчас, и потому я счастлив»; вместо этого он — совсем по-викториански — говорил: «Я не могу обладать этим вечно, и потому мне грустно».

Наука в конце концов победила, и Чарльз принялся искать своих иглокожих в кремневых отложениях вдоль берега ручья. Он нашел красивый обломок окаменелого гребешка, но морские ежи упорно от него ускользали. Медленно продвигаясь между деревьями к западу, он то и дело наклонялся, внимательно изучал землю у себя под ногами, делал еще несколько шагов и продолжал в том же духе. Время от времени он переворачивал палкой подходящий с виду обломок кремня. Но ему не везло. Прошел час, и долг перед Эрнестиной начал перевешивать его пристрастие к иглокожим. Он посмотрел на часы, подавил проклятие и вернулся к тому месту, где оставил рюкзак. Поднявшись еще немного вверх в лучах заходящего солнца, которое било ему в спину, он вышел на тропинку и повернул к Лайму. Тропа уходила вверх, изгибаясь вдоль заросшей плющом каменной стены, и вдруг, со свойственным тропинкам коварством, ни с того ни с сего разветвилась. Не зная как следует местности, Чарльз заколебался, потом прошел еще с полсотни ярдов по нижней тропе, которая вилась по дну поперечной ложины, уже успевшей погрузиться в густую тень. Вскоре, однако, задача разрешилась сама собой — еще одна тропа, неожиданно возникнув справа

от него, повернула обратно к морю, вверх по небольшому крутому склону. Чарльз решил, что сверху будет легче ориентироваться, и, продравшись сквозь заросли куманики — по этой тропинке почти никогда не ходили, — поднялся на маленькое зеленое плато.

Перед ним открылась прелестная альпийская лужайка. Два-три белых кроличьих хвостика объяснили, почему трава здесь такая короткая.

Чарльз остановился на солнце. Лужайку испещряли звездочки лядвенца и очанки; ярко зеленели дерновинки душицы, готовой вот-вот зацвести. Он подошел ближе к краю плато.

И тут, у себя под ногами, он увидел человеческую фигуру.

В первое мгновение он в ужасе подумал, что наткнулся на труп. Но это была спящая женщина. Она выбрала очень странное место — широкий, поросший травой наклонный уступ футов на пять ниже уровня плато, и Чарльз увидел ее только потому, что подошел к самому его краю. Меловые стены позади этого естественного балкона, самой широкой своей стороной обращенного к юго-западу, как бы вбирали в себя солнечные лучи, превращая его в своеобразную солнечную западню. Мало кому, однако, пришло бы в голову ею воспользоваться. Наружный край уступа переходил в крутой обрыв высотой в тридцать — сорок футов, густо оплетенный колючими ветвями куманики. Ниже круто обрывался к берегу почти отвесный утес.

Чарльз инстинктивно отпрянул, боясь, как бы женщина его не заметила. Кто она — разобрать было невозможно. Он стоял в полной растерянности, устремив невидящий взгляд на открывавшийся откуда великолепный пейзаж. Он помедлил, хотел было уйти, но любопытство снова толкнуло его вперед.

Девушка лежала навзничь, забывшись глубоким сном. Пальто ее распахнулось, открыв платье из синего колленора, суровая простота которого смягчалась лишь узеньким белым воротничком вокруг шеи. Лицо спящей было повернуто так, что Чарльз его не видел; правая рука отброшена назад и по-детски согнута в локте. Рядом рассыпался по траве пучок ветрениц. В этой позе было что-то необыкновенно нежное и в то же время сексуальное; она пробудила в душе Чарльза смутный отзвук одного мгновения, пережитого им в Париже. Другая девушка, имени которой он теперь не мог вспомнить, а быть может, никогда и не знал, однажды на заре так же сладко спала в комнате с видом на Сену.

Продвигаясь вдоль изогнутого края плато, он нашел место, откуда ему лучше видно было лицо спящей, и лишь тогда понял, чье уединение он нарушил. Это была Подруга французского лейтенанта. Несколько прядей выбились из прически и наполовину закрывали ей щеку. На Коббе ее волосы показались ему темно-каштановыми; теперь он увидел, что они отливают теплой бронзой и лишены блеска от обязательной в те дни помады. Кожа под ними казалась в этом освещении почти красновато-коричневой, словно эта девушка больше заботилась

о здоровье, чем о модной бледности и томности. Четкий рисунок носа, густые брови, рот... но рта ему не было видно. Его почему-то раздражало, что он видит ее вверх ногами, но местность не позволяла ему выбрать более подходящий ракурс.

Так он стоял, не в силах ни двинуться с места, ни отвести взгляд, завороченный этой неожиданной встречей и охваченный столь же странным чувством — не сексуальным, а братским, быть может, даже отцовским, уверенностью, что эта девушка чиста, что ее незаслуженно изгнали из общества, и это чувство позволило ему ощутить всю глубину ее одиночества. В этот век, когда женщины были робкими, малоподвижными, неспособными к длительным физическим усилиям, что еще, кроме отчаяния, могло погнать ее в такую глушь?

В конце концов он подошел к самому краю вала, остановился прямо над ее лицом и тут увидел, что от печали, так поразившей его при первой встрече, в нем не осталось и следа. Во сне лицо было мягким и нежным; на губах, казалось, играла даже какая-то тень улыбки. И в ту самую минуту, когда он, изогнувшись, наклонился, она проснулась.

Она тотчас посмотрела вверх — так быстро, что его попытка скрыться оказалась напрасной. Его заметили, и он был слишком хорошо воспитан, чтобы это отрицать. Поэтому когда Сара вскочила на ноги, запахнула пальто и удивленно посмотрела на него со своего уступа, он приподнял шляпу и поклонился. Она ничего не сказала, но устремила на него взгляд, полный испуга, замешательства и отчасти, может быть, стыда. Глаза у нее были красивые и очень темные.

Так они простояли несколько секунд, скованные взаимным непониманием. Она казалась ему совсем маленькой, когда, скрытая ниже талии, стояла у него под ногами и сжимала рукой воротник, словно при малейшем его движении готова была повернуться и обратиться в бегство. Наконец он вновь обрел чувство приличия.

— Тысяча извинений. Я никак не ожидал вас тут увидеть.

С этими словами он повернулся и пошел прочь. Не оглядываясь, он опять спустился на тропу, с которой сошел, добрался до развилки и с удивлением сообразил, что у него не хватило духу спросить у нее, в какую сторону идти. Он секунду помедлил, надеясь, что она идет вслед за ним. Но она не появлялась. Вскоре он решительно двинулся по верхней тропе.

Чарльз не знал, что в эти короткие мгновения, когда он замешкался над полным ожиданием морем, в этой светлой прозрачной предвечерней тишине, нарушаемой одним лишь спокойным плеском волн, сбилась с пути вся викторианская эпоха. И я вовсе не хочу этим сказать, что он свернул не на ту тропу.

...Долг — приличий соблюденье,
А иначе — смертный грех!
Чаще в церковь езд: там уж,
Коль покаешься, простят;
Попляши сезон — и замуж:
Папа с мамой так велят.

Артур Хью Клаф. Долг (1841)

Чего он заявился к нам?
Я за него гроша не дам!
Ишь, пустобрех! Прихорошится
Да корчит франта — эка птица!
А видно — дурень: мать с отцом
Не научили, что почем.

*Уильям Барнс. Из стихотворений,
написанных на дорсетском наречии (1869)*

Приблизительно в то самое время, когда произошла эта встреча, Эрнестина беспокойно поднялась с постели и взяла с туалетного столика черный сафьяновый дневник. Надув губы, она первым делом открыла свою утреннюю запись, отнюдь не отличавшуюся красотами стиля: «Написала письмо маме. Не виделась с милым Чарльзом. Не выходила, хотя погода прекрасная. Не чувствую себя счастливой».

Бедняжка, которую в этот день преследовали всевозможные «не», могла выместить свое дурное настроение на одной лишь тете Трэнтер. Даже присланные Чарльзом бледно-желтые нарциссы и жонкилы, аромат которых она теперь вдыхала, вначале вызвали у нее только досаду. Дом тетки был невелик, и Эрнестина слышала, как Сэм постучался в парадную дверь, как эта испорченная и непочтительная Мэри ему открыла, слышала приглушенные голоса, потом весьма отчетливый подавленный смехок горничной и стук захлопнувшейся двери. В голове Эрнестины мелькнуло мерзкое, отвратительное подозрение, что приходил Чарльз, что он любезничал с горничной, и это пробудило в ней одно из самых глубоких опасений на его счет.

Она знала, что он жил в Париже и в Лиссабоне и вообще много путешествовал; знала, что он на одиннадцать лет старше ее и что он нравится женщинам. На ее осторожные, шуточные вопросы касательно его прошлых побед он всегда отвечал столь же осторожно и шуточно; но в том-то и была загвоздка. Эрнестине казалось, будто он что-то скрывает — трагическую французскую графиню или страстную португальскую маркизу. Она никогда не позволила бы себе вообразить какую-нибудь парижскую гризетку или волоокую служанку из гостиницы в Синтре, что было бы гораздо ближе к истине. Но в известном смысле вопрос о том, спал ли он с другими женщинами, беспокоил ее меньше, чем он мог бы беспокоить современную девушку. Разумеется, стоило подобным греховным предположениям зародиться в мозгу Эрнестины, как она тотчас же изрекала свое категорическое «не смей!», но ревновала она, в сущности, сердце Чарльза. Мысль о том, чтобы делить его с кем-либо в прошлом или в настоящем, была для нее нестерпима. Эрнестина понятия не имела о полезной бритве Оккама. Поэтому, когда она пребывала в мрачности, простая истина, что Чарльз никогда не был по-настоящему влюблен, превращалась

в неопровержимое доказательство его былой страстной влюбленности. Его внешнюю невозмутимость она принимала за жуткую тишину поля недавних сражений, за некое Ватерлоо спустя месяц после битвы, а не за местность, лишенную всякой истории, чем она в действительности была.

Когда парадная дверь захлопнулась, Эрнестина позволила чувству собственного достоинства ровно на полторы минуты взять верх, после чего ее хрупкая ручка потянулась к позолоченному шнуру возле постели и властно его дернула. Снизу, из расположенной в полуподвале кухни, донесся приятно настойчивый звон, затем послышались шаги, в дверь постучали, и на пороге показалась Мэри с вазой, из которой буквально бил фонтан весенних цветов. Горничная подошла и остановилась у постели. На лице ее, наполовину скрытом цветами, играла такая улыбка, что ни один мужчина не смог бы на нее рассердиться — и потому Эрнестина при виде этого незваного явления Флоры, напротив, сердито и укоризненно нахмурилась.

Из трех молодых женщин, которые проходят по этим страницам, Мэри, по-моему, самая хорошенькая. В ней было бесконечно больше жизни, бесконечно меньше себялюбия и вдобавок еще физическое обаяние: изысканно чистое, хотя и румяное, лицо, золотистые волосы, прелестные, широко расставленные серо-голубые глаза — глаза, которые неизменно будили веселый отклик в душе любого мужчины и столь же весело на него отвечали. Они искрились так же неукротимо, как пенится первосортное шампанское, не оставляя при этом неприятного осадка. Даже уродливая викторианская одежда, которую ей так часто приходилось носить, не могла скрыть всей прелести ее стройной, налитой фигурки. Правда, слово «налитая» звучит как-то обидно. Я только что вспоминал Ронсара, так вот, ее фигура требовала определения из его словаря — слова, эквивалента которому в английском языке нет, а именно: *gondelet* — соблазнительная округлость не в ущерб очаровательной стройности. Праправнучка Мэри, которой в том месяце, когда я это пишу, исполняется двадцать два года, очень похожа на свою прародительницу, и лицо ее знакомо всему миру, потому что она — одна из самых знаменитых молодых актрис английского кино.

Боюсь, однако, что для 1867 года лицо это не очень подходило. Например, оно решительно не подошло миссис Поултни, которая познакомилась с ним тремя годами ранее. Мэри была племянницей одного из родственников миссис Фэрли, которая уговорила миссис Поултни определить ее ученицей в противную кухню. Однако Мэри и Мальборо-хаус сочетались так же, как гробница со щеглом, и когда миссис Поултни в один прекрасный день угрюмо обозревала свои владения из окна верхнего этажа и перед нею открылась отвратительная картина — один из младших конюхов попытался сорвать поцелуй и не встретил должного сопротивления, — щегла тотчас выпустили на свободу, после чего он залетел к миссис Трэнтер, хотя миссис Поултни со всей серьезностью разъяснила этой даме, сколь безрассудно поощрять такое явное распутство.

На Брод-стрит Мэри была счастлива. Миссис Трэнтер любила хорошеньких девушек, а хорошеньких хохотушек особенно. Конечно, Эрнестина была ее племянницей, и о ней она заботилась больше, но Эрнестину она видела лишь раз или два в год, тогда как Мэри — каждый день. За живой кокетливой внешностью Мэри скрывалась искренняя доброта, и она, не скупясь, воздавала за тепло, которое получала. Эрнестине осталась неизвестной страшная тайна дома на Брод-стрит: в кухаркины свободные дни миссис Трэнтер обедала на кухне вдвоем с Мэри, и это были отнюдь не самые несчастливые часы в жизни их обеих.

У Мэри были свои недостатки — например, она немножко завидовала Эрнестине. И не только потому, что с приездом юной леди из Лондона она сразу лишалась положения любимицы, но еще и потому, что юная леди из Лондона привозила полные сундуки наимоднейших лондонских и парижских туалетов, что отнюдь не внушало восторга служанке, имеющей всего-навсего три платья, из которых ни одно ей по-настоящему не нравилось, хотя лучшее из них могло не нравиться ей только потому, что досталось от юной столичной принцессы. Она также считала, что Чарльз очень красив и притом слишком хорош, чтобы достаться в мужья худосочной особе вроде Эрнестины. Вот почему Чарльзу так часто удавалось полюбоваться этими сероголубыми глазками, когда Мэри открывала ему дверь или встречала его на улице. Увы, надо признаться, что эта девица нарочно старалась уходить и приходила одновременно с Чарльзом, и всякий раз, как он здоровался с нею на улице, она мысленно показывала нос Эрнестине; от нее не укрылось, зачем племянница миссис Трэнтер сразу после его ухода поспешно мчится наверх. Как все субретки, она осмеливалась думать о том, о чем не смела думать госпожа, и отлично это знала.

Ехидно позволив своему здоровью и жизнерадостности произвести должное впечатление на больную, Мэри поставила цветы на комод возле кровати.

— От мистера Чарльза, мисс Тина. Велели кланяться.

— Поставь на туалетный столик. Я не люблю, когда цветы стоят слишком близко.

Мэри послушно переставила букет и принялась непослушно его переделывать, после чего с улыбкой обернулась к полной подозрений Эрнестине.

— Он их сам принес?

— Нет, мисс.

— А где мистер Чарльз?

— Не знаю, мисс. Я их не спрашивала.

Однако губы ее были так крепко сжаты, словно она хотела прыснуть.

— Но я слышала, что ты разговаривала с каким-то мужчиной.

— Да, мисс.

— О чем?

— Я только спросила, сколько время, мисс.

— И поэтому ты смеялась?

— Да, мисс. Он так смешно разговаривает, мисс.

Сэм, явившийся к парадным дверям, был ничуть не похож на угрюмого возмущенного молодого человека,

который незадолго до того правил бритву. Он всунул в руки озорнице Мэри роскошный букет.

— Для красивой молодой леди наверху.— Затем ловко поставил ногу так, чтобы дверь не могла захлопнуться, и столь же ловко вытащил из-за спины маленький пучок крокусов, который был у него в другой руке, а освободившейся рукой снял свой модный, почти лишенный полей цилиндр.— А это для другой, что покрасивше.

Мэри залилась пунцовым румянцем; давление двери на ногу Сэма таинственным образом ослабло. Он смотрел, как она нюхает желтые цветы — не по правилам хорошего тона, а по-настоящему, так, что на ее очаровательном дерзком носике появилось крошечное оранжевое пятнышко.

— Мешок с сажеей когда доставить прикажете? — Мэри выжидательно закусила губу.— Только с условием. Плата вперед.

— А почему нынче сажая?

Нахал дерзко оглядел свою жертву, словно прикидывая, сколько бы запросить, потом приложил палец к губам и весьма недвусмысленно подмигнул. Именно это и вызвало упомянутый выше сдавленный смешок и стук захлопнувшейся двери.

Эрнестина бросила на Мэри взгляд, достойный самой миссис Поултни.

— Пожалуйста, не забывай, что он из Лондона.

— Да, мисс.

— Мистер Смитсон уже говорил мне о нем. Этот человек воображает себя Дон Жуаном.

— А это что такое будет, мисс Тина?

Жажда дальнейших разъяснений, выразившаяся на лице Мэри, сильно раздосадовала Эрнестину.

— Неважно. Но если он начнет с тобой заигрывать, ты сразу скажешь мне. А теперь принеси ячменного отвара. И впредь веди себя скромнее.

В глазах Мэри сверкнул огонек, весьма смахивающий на дерзкий вызов. Но она опустила глаза и голову с кружевной наколкой, еле заметно присела и вышла из комнаты. Три лестничных марша вниз и столько же вверх — мысль о них весьма утешила Эрнестину, у которой не было ни малейшего желания пить полезный, но безвкусный ячменный отвар тети Трэнтер.

Однако в этой словесной перепалке Мэри некоторым образом одержала победу, ибо Эрнестина, которая по натуре была отнюдь не домашним тираном, а просто скверной избалованной девчонкой, вспомнила, что скоро ей придется перестать разыгрывать из себя госпожу и сделаться таковой всерьез. Разумеется, прекрасно иметь собственный дом, выйти из-под опеки родителей... но все говорят, что слуги доставляют столько хлопот. Все говорят, что они уже не те, что были прежде. Словом, от них одни неприятности. Возможно, озабоченность и досада Эрнестины не слишком отличались от чувств, охвативших Чарльза, когда он, обливаясь потом и спотыкаясь, брел по берегу моря. Жизнь — исправная машина, думать иначе — ересь, однако крест свой приходится нести, и никуда от этого не уйдешь.

Чтоб отогнать мрачные предчувствия, не покинувшие ее и после обеда, Эрнестина взяла дневник, уселась в постели и опять раскрыла страницы, между которыми лежала веточка жасмина.

К середине века в Лондоне началось плутократическое расслоение общества. Ничто, разумеется, не заменило голубую кровь, но постепенно все сошлось на том, что хорошие деньги и хорошая голова могут искусственно создать вполне сносный дубликат приемлемого общественного положения. Дизраэли составлял для своего времени не исключение, а норму. Дед Эрнестины в молодости и был, возможно, всего-навсего зажиточным суконщиком в Стоук-Ньюингтоне, но умер он суконщиком очень богатым и — что гораздо важнее — перебрался в центральную часть Лондона, основал один из крупнейших магазинов Вест-Энда и распространил свои деловые операции на многие другие отрасли, кроме торговли сукном. Отец Эрнестины, правда, дал ей всего лишь то, что получил сам, — наилучшее образование, какое можно было купить за деньги. Во всем, кроме генеалогии, он был безукоризненным джентльменом и осмотрительно женился на девушке лишь немногим более высокого происхождения — дочери одного из преуспевающих стряпчих лондонского Сити, среди не слишком отдаленных предков которого числился не более и не менее, как генеральный прокурор. Поэтому беспокойство Эрнестины насчет ее положения в обществе было даже по викторианским меркам весьма надуманным, а Чарльза оно и вовсе никогда не смущало.

— Вы только подумайте, — сказал он ей однажды, — сколь постыдно плебейски звучит фамилия Смитсон.

— Ах, конечно, если бы вас звали лорд Брабазон Вавасур Вир де Вир, я бы любила вас гораздо больше!

Однако за этой самоиронией таился страх.

Чарльз познакомился с Эрнестиной в ноябре предыдущего года в доме некой светской дамы, которая присмотрела его для одной жеманной девицы из своего выводка. К несчастью всех этих молодых леди, родители имели обыкновение перед каждым званым вечером пичкать их всевозможными инструкциями. Их роковая ошибка состояла в том, что они пытались уверить Чарльза, будто безумно увлекаются палеонтологией — он непременно должен дать им список наиболее интересных книг по этому предмету, — тогда как Эрнестина деликатно, но весьма решительно отказалась принимать его всерьез. Она обещала присылать ему все интересные экземпляры, какие только найдутся у нее в ведерке для угля, а в другой раз заметила, что считает его большим лентяем. Но почему же? А потому, что стоит ему только войти в любую лондонскую гостиную, и он найдет множество интересующих его образцов.

Обоим молодым людям этот вечер не сулил ничего, кроме привычной скуки, но, вернувшись домой, оба пришли к заключению, что ошибались.

Они нашли друг в друге незаурядный ум, легкость в обращении и приятную сдержанность. Эрнестина дала понять, что «этот мистер Смитсон» выгодно отличается от множества скучных молодых людей, представленных ей на рассмотрение в текущем сезоне. Мать ее осторожно навела справки и посоветовалась с мужем, который занялся этим серьезнее: порога гостиной дома, выходящего окнами на Гайд-парк, никогда не переступал ни один молодой человек, который не подвергся такой же строгой проверке, какой подвергает физиков-атомщиков

любая современная служба безопасности. Чарльз блестяще выдержал это тайное испытание.

Эрнестина между тем поняла, в чем состоит ошибка ее соперниц: сердце Чарльза никогда не покорит особа, которую будут ему навязывать. Поэтому, когда Чарльз стал завсегдатаем вечеров и журфиксов ее матери, он, к своему удивлению, не нашел там ни единого признака обычных матримониальных капканов, вроде прозрачных намеков мамыши, что ее славная девочка обожает детей или «втайне не может дождаться конца сезона» (считалось, что Чарльз изберет своей постоянной резиденцией Винзизт, как только камень преткновения в лице его дяди выполнит свой долг), равно как и еще более прозрачных намеков папаши насчет размеров состояния, которое «моя драгоценная дочурка» получит в приданое. Последние, впрочем, были совершенно излишни — дом в Гайд-парке сделал бы честь любому герцогу, а отсутствие братьев и сестер говорило больше, чем тысяча банковских отчетов.

Но и Эрнестина тоже старалась не заходить слишком далеко, хотя она очень скоро твердо вознамерилась, как это свойственно лишь избалованным единственным дочкам, во что бы то ни стало завладеть Чарльзом. Она позаботилась о том, чтобы в доме постоянно бывали другие интересные молодые люди, и не выделяла желанную добычу какими-либо особенными милостями или знаками внимания. Она взяла себе за правило никогда не принимать его всерьез; не говоря об этом прямо, она, однако же, дала ему понять, что он ей нравится, потому что с ним весело, но она, конечно, знает, что он никогда не женится. Наконец в январе наступил вечер, когда Эрнестина решила посеять роковое семя.

Она заметила, что Чарльз стоит в одиночестве, а на противоположном конце комнаты сидит пожилая вдова — нечто вроде мейфэрского эквивалента миссис Поултни. Не сомневаясь, что Чарльз столько же нуждается в ее обществе, сколько здоровый ребенок в касторке, Эрнестина подошла к нему и спросила:

— Не хотите ли побеседовать с леди Фэйрвезер?

— Я предпочел бы побеседовать с вами.

— Я вас представляю. И тогда вы сможете получить свидетельство очевидца о событиях ранней меловой эры.

Он улыбнулся.

— Меловой называется не эра, а период.

— Не все ли равно? Эта дама достаточно стара. А я знаю, как вам надоело все, что происходит последние девяносто миллионов лет. Пойдемте.

И они направились в противоположный конец комнаты, но на полдороге к ранней меловой даме Эрнестина остановилась, коснулась его руки и заглянула ему в глаза.

— Если вы решили стать нудным старым холостяком, мистер Смитсон, вам надо хорошенько отрепетировать свою роль.

Не успел он ответить, как она уже двинулась дальше, и на первый взгляд могло показаться, что его просто продолжают дразнить. Однако в глазах ее на какую-то долю секунды мелькнуло нечто похожее на предложение — по-своему столь же недвусмысленное, как предложения, которые в Лондоне тех времен исходили от женщин, стоявших в дверях домов вокруг Хеймаркета.

Эрнестина понятия не имела, что затронула болезненное место в глубине души Чарльза — с некоторых пор ему все больше стало казаться, что он уподобляется своему дядюшке, что жизнь проходит мимо, что он чересчур привередлив, ленив, эгоистичен... и еще хуже того. Он уже два года не ездил за границу и теперь понял, что прежние путешествия восполняли ему отсутствие жены. Они отвлекали его от домашних забот и, кроме того, давали возможность брать к себе в постель случайных женщин — удовольствие, которое он строго запретил себе в Англии, быть может, вспоминая ту черную ночь души, которой кончился первый его опыт такого рода.

Путешествия его больше не привлекали, но женщины привлекали, и потому он пребывал в состоянии крайней сексуальной неудовлетворенности, ибо моральная чистоплотность не позволяла ему прибегнуть к простейшему средству — съездить на неделю в Париж или Остенде. Он никогда не позволил бы себе отправиться в путешествие под влиянием подобных соображений. Всю следующую неделю он провел в раздумьях. Затем, в одно прекрасное утро, проснулся.

Все оказалось очень просто. Он любит Эрнестину. Он представил себе удовольствие, с каким проснется в такое же точно холодное серое утро, когда земля припорошена снегом, и увидит, что рядом спит это милое, застенчивое, безмятежное существо — о Господи! (мысль, от которой он застыл в изумлении) — и спит вполне законно в глазах Бога и людей. Через несколько минут он перепугал заспанного Сэма, который припелся снизу в ответ на его настойчивые звонки, объявив ему: «Сэм! Я абсолютный, стопроцентный, прости меня Господи, законченный идиот!»

Дня через два «законченный идиот» имел беседу с отцом Эрнестины. Беседа была краткой и весьма плодотворной. Он спустился в гостиную, где, трепеща от волнения, сидела мать Эрнестины. Не в силах вымолвить ни слова, она неуверенно указала в сторону зимнего сада. Чарльз отворил белые двери и остановился в струе горячего благоуханного воздуха. Эрнестину ему пришлось искать, но в конце концов он нашел ее в дальнем углу, за беседкой из стефанотиса. Она взглянула на него, потом поспешно отвела и опустила глаза. В руках у нее были серебряные ножницы, и она делала вид, будто срезает засохшие цветы этого пахучего растения. Чарльз остановился у нее за спиной и откашлялся.

— Я пришел с вами проститься. — Он притворился, что не замечает брошенного на него отчаянного взгляда, прибегнув к простейшему приему, то есть уставившись в землю. — Я решил навсегда покинуть Англию. Остаток жизни я проведу в путешествиях. Чем еще может скрасить свои дни нудный старый холостяк?

Он намеревался продолжать в том же духе, но вдруг увидел, что Эрнестина опустила голову и с такой силой вцепилась в край стола, что у нее побелели суставы пальцев. Он знал, что при обычных обстоятельствах она бы сразу догадалась, что он ее дразнит, и ему стало ясно, что ее недогадливость вызвана глубоким чувством, которое передалось и ему.

— Но если бы я знал, что кто-то интересуется мною настолько, чтоб разделить...

Тут он остановился, потому что она обернулась и подняла на него полные слез глаза. Их руки встретились, и он привлек ее к себе. Они не поцеловались. Они были не в силах. Можно ли целых двадцать лет безжалостно держать взаперти здоровый половой инстинкт, а когда двери тюрьмы распахнулись, удивляться, что арестант разразился рыданиями?

Через несколько минут Чарльз вел успевшую немножко прийти в себя Тину по проходу между тепличными растениями к дверям в комнаты. Возле куста жасмина он остановился, сорвал веточку и шутливо подержал у нее над головой.

— Хоть это и не омела, но, пожалуй, сойдет, как вы думаете?

И тут они поцеловались — как дети, такими же целомудренно бесполоыми губами. Эрнестина опять заплакала; потом она вытерла глаза и позволила Чарльзу отвести себя в гостиную, где стояли ее родители. Слов не потребовалось. Эрнестина бросилась в открытые объятия матери, и слез теперь полилось вдвое больше. Мужчины между тем улыбались друг другу; один — словно только что заключил чрезвычайно выгодную сделку; второй — словно он не совсем уверен, на какой планете очутился, но от всей души надеется, что туземцы встретят его дружелюбно.

12

В чем же заключается самоотчуждение труда? Во-первых, в том, что труд является для рабочего чем-то *внешним*, не принадлежащим к его сущности; в том, что он в своем труде не утверждает себя, а отрицает, чувствует себя не счастливым, а несчастным, не развертывает свободно свою физическую и духовную энергию, а изнуряет свою физическую природу и разрушает свой дух. Поэтому рабочий только вне труда чувствует себя самим собой, а в процессе труда он чувствует себя оторванным от самого себя. У себя он тогда, когда он не работает; а когда он работает, он уже не у себя.

К. Маркс. *Экономико-философские рукописи (1844)*

Но был ли мой счастливый день
И впрямь безоблачен и ясен?

А. Теннисон. *In Memoriam (1850)*

Оставив позади мысли о таинственной незнакомке, Чарльз быстро зашагал вперед по Вэрскому лесу. Пройдя с милю, он наткнулся одновременно на прогалину между деревьями и на первый аванпост цивилизации. Это был длинный, крытый тростником дом, стоявший чуть пониже тропинки, по которой он шел. Его окружали два-три луга, сбегавшие к обрыву, и, выйдя из леса, Чарльз увидел возле дома человека, который криками выгонял коров из низкого хлева. Перед мысленным взором Чарльза возникло восхитительное виденье — чашка холодного молока. После двойной порции булочек он еще ничего не ел. Чай и ласка в доме миссис Трэнтер тихо манили его к себе, но чашка молока громко зывала... и притом до нее было рукой подать. Он спустился по крутому травянистому склону и постучал в заднюю дверь дома.

Дверь отворила маленькая круглая толстушка; ее пухлые руки были в мыльной пене. Конечно, милости

просим, молока сколько угодно, пейте на здоровье. Как называется это место? Да никак, просто сыроварня. Чарльз последовал за женщиной в низкую пристройку с наклонным потолком, которая тянулась вдоль задней стены дома. Сумрачное прохладное помещение, вымощенное сланцевыми плитами, было пропитано густым запахом зреющего сыра. На стропилах открытого чердака, словно эскадрон резервных лун, стояли круглые сыры, а под ними, на деревянных подставках, выстроились большие медные котлы с кипяченым молоком, покрытым золотистым слоем пенок. Чарльз вспомнил, что уже слышал об этой ферме. Она славилась на всю округу маслом и сливками; говорила ему о ней миссис Трэнтер. Он назвал ее имя, и женщина, которая зачерпывала молоко из стоявшей у дверей маслостопки точь-в-точь в такую простую синюю с белым фарфоровую чашку, какую он себе представлял, с улыбкой на него посмотрела. Из чужака он сразу превратился в гостя.

Покуда он, стоя на траве за сыроварней, говорил с женщиной или, вернее, слушал, что говорила она, возвратился ее муж — лысый, заросший густой бородой человек с чрезвычайно мрачным выражением лица — ни дать ни взять пророк Иеремия. Он бросил суровый взгляд на жену. Она тотчас умолкла и вернулась к своим котлам. Сыровар оказался неразговорчивым, но когда Чарльз спросил его, сколько он должен за чашку превосходного молока, ответил весьма внятно. Пенни с изображением юной королевы Виктории, одно из тех, что до сих пор попадают среди мелочи, хотя за последние сто лет с них стерлось все, кроме этой изящной головки, перекочевало из рук в руки.

Чарльз хотел было вернуться на верхнюю тропу. Однако не успел он сделать и шага, как из-за деревьев, что росли на окружавших ферму склонах, показалась фигура в черном. Это была та самая девушка. Взглянув сверху на обоих мужчин, она пошла дальше в сторону Лайма. Чарльз оглянулся на сыровара, который провожал ее испепеляющим взглядом. Чувство такта неведомо пророкам, и потому ничто не могло помешать ему высказать о ней свое мнение.

— Вы знаете эту даму?

— Как не знать.

— Она часто здесь бывает?

— Частенько.— Не сводя с нее взгляда, сыровар изрек: — Никакая она не дама. Шлюха французова, вот она кто.

Слова эти он произнес так, что Чарльз не сразу его понял. Он бросил сердитый взгляд на бородатого сыровара, который, как все методисты, любил называть вещи своими именами, особенно когда речь шла о чужих грехах. Чарльзу он показался олицетворением всех ханжеских сплетен — и сплетников — города Лайма. Он мог бы многому о ней поверить, но что женщина с таким лицом — шлюха, не поверил бы никогда.

Вскоре он уже шагал по проселочной дороге в Лайм. Две меловые колеи тянулись между живой изгородью, наполовину закрывавшей море, и лесом, уходящим вверх по склону. Впереди виднелась черная фигура; теперь девушка была в капоре. Она шла

неторопливым, но ровным шагом, без всякого жеманства, как человек, привыкший ходить на большие расстояния. Чарльз двинулся вдогонку и вскоре подошел к ней вплотную.

Она, должно быть, услышала стук его башмаков по кремню, проступавшему из-под мела, но не обернулась. Он заметил, что пальто ей немного велико, а каблуки ботинок запачканы глиной. Он помедлил, но, вспомнив угрюмый взгляд фанатика сыровара, вернулся к своему первоначальному рыцарскому намерению — показать несчастной женщине, что не все на свете дикари.

— Сударыня!

Оглянувшись, она увидела, что он стоит с непокрытой головой и улыбается, и хотя в эту минуту на лице ее было написано всего лишь удивление, оно опять произвело на него какое-то необыкновенное действие. Казалось, всякий раз, взглядывая на ее лицо, он не верил своим глазам и потому должен был взглянуть на него снова. Оно как бы и притягивало, и отталкивало его от себя, словно она, как фигура из сна, одновременно стояла на месте и уходила вдаль.

— Я должен дважды перед вами извиниться. Вчера я еще не знал, что вы секретарша миссис Поултни. Боюсь, что я крайне неучтиво с вами разговаривал.

Она смотрела в землю.

— Ничего, сэр.

— А теперь, когда я... вам могло показаться... Я испугался, что вам стало дурно.

Все еще не поднимая глаз, она наклонила голову и повернулась, чтобы идти дальше.

— Позвольте проводить вас. Ведь нам, кажется, по пути?

Она остановилась, но не обернулась.

— Я предпочитаю ходить одна.

— Миссис Трэнтер объяснила мне, что я ошибся. Я...

— Я знаю, кто вы, сэр.

Ее застенчивая решительность заставила его улыбнуться.

— В таком случае...

Она неожиданно подняла на него глаза, в которых было скрытое за робостью отчаяние.

— Прошу вас, позвольте мне идти одной.

Улыбка застыла у него на губах. Он поклонился и отошел. Однако вместо того, чтобы уйти, она все еще стояла и смотрела в землю.

— И пожалуйста, не говорите никому, что видели меня здесь.

Затем, так и не взглянув на него, она наконец повернулась и пошла дальше, словно знала, что просьба ее была напрасной, и, высказав ее, она тотчас об этом пожалела. Стоя посреди дороги, Чарльз смотрел, как удаляется ее черная фигура. С ним осталось только воспоминание об ее глазах — они были неестественно велики, словно умели видеть и страдать больше других. В их прямом взгляде — он не знал, что она смотрела на него тем же взглядом, с каким раздавала трактаты, — содержался весьма своеобраз-

ный элемент отпора. Не подходи ко мне, говорили они. *Noli me tangere*¹

Он посмотрел вокруг, пытаясь понять, почему она хочет скрыть свои прогулки по этим невинным лесам. Какой-нибудь мужчина, быть может, тайное свидание? Но потом он вспомнил ее историю.

Добравшись наконец до Брод-стрит, Чарльз решил по дороге в гостиницу «Белый лев» зайти к миссис Трэнтер и объяснить, что как только он примет ванну и переоденется, он тотчас...

Дверь отворила Мэри, но миссис Трэнтер случайно оказалась в прихожей — вернее, нарочно вышла в прихожую — и убедила его не церемониться: его костюм красноречивее всяких извинений. Итак, Мэри, улыбаясь, взяла у него ясеневую палку и рюкзак и провела его в маленькую гостиную, залитую последними лучами заходящего солнца, где в тщательно обдуманном, прелестном карминно-сером дезабилье возлежала больная.

— Я чувствую себя как ирландский землекоп в будуаре королевы, — посетовал Чарльз, целуя пальчики Эрнестины с таким видом, который ясно доказывал, что землекоп из него никудышный.

Она отняла руку.

— Вы не получите ни капли чаю, покуда не дадите отчет о каждой минуте сегодняшнего дня.

Он рассказал ей обо всем, что с ним приключилось, или почти обо всем: ведь Эрнестины уже дважды дала ему понять, что упоминание о Подруге французского лейтенанта ей глубоко неприятно — первый раз на Коббе, а второй за завтраком, когда миссис Трэнтер сообщила Чарльзу почти такие же сведения, какие приходский священник годом раньше сообщил миссис Поултни. Но Эрнестины отчитала тетушку за то, что она надоедает Чарльзу глупой болтовней, и бедная женщина — ей слишком часто ставили в упрек ее провинциальные манеры, и потому она всегда была настороже — смиренно умолкла.

Чарльз протянул Эрнестины камень с отпечатками аммонитов, и та, отложив в сторону каминный щит (предмет наподобие ракетки для пинг-понга, с длинной лопастью, обтянутой вышитым атласом и оплетенной по краям коричневой тесьмой), попыталась удержать в руках увесистый подарок, но не смогла, после чего простила Чарльзу все его прегрешения за этот поистине геркулесов подвиг и принялась с притворным гневом укорять его за то, что он так легкомысленно рискует своей жизнью и здоровьем.

— Эти террасы просто очаровательны. Я понятия не имел, что в Англии существует такая глушь. Они напомнили мне некоторые приморские пейзажи на севере Португалии.

— Да он просто вне себя! — вскричала Эрнестины. — Признайтесь, Чарльз, вместо того чтобы рубить головы ни в чем не повинным утесам, вы флиртовали с лесными нимфами.

Тут Чарльза охватило невыразимое смущение, которое он поспешил прикрыть улыбкой. Его так и подмывало рассказать им про девушку; он даже придумал забавную историю о том, как он на нее

наткнулся, и все же это значило бы предать не только ее искреннюю печаль, но и самого себя. Он чувствовал, что солгал бы, так легко отмахнувшись от обеих встреч с нею, и в конце концов ему показалось, что наименьшим обманом в этой банальной комнате будет молчание.

Остается объяснить, почему за две недели до описанных событий при упоминании о Вэрской пустоши на лице миссис Поултни выразился такой ужас, словно она увидела перед собою Содом и Гоморру.

Между тем объяснение заключается всего лишь в том, что это было ближайшее к Лайму место, куда люди могли пойти, зная, что там за ними никто не будет подсматривать. Земля эта имела долгую, темную и злополучную юридическую историю. До принятия парламентских актов об огораживании она всегда считалась общинной, но потом ее неприкосновенность была нарушена, о чем до сих пор свидетельствуют названия полей вокруг сыроварни, которые от нее отторгли. Джентльмен, живший в одном из больших домов, расположенных за террасами, совершил тихий *Anschluss*¹, причем, как это уже не раз бывало в истории, с одобрения своих сограждан. Правда, некоторые республикански настроенные жители Лайма поднялись на защиту общинной собственности с оружием в руках (если считать оружием топор), потому что упомянутый джентльмен воспылил страстным желанием основать на террасах древесный питомник. Дело дошло до суда, а затем стороны пошли на компромисс: гражданам было предоставлено право прохода по чужой земле с условием, что они не будут трогать редкие породы деревьев. Однако общественно-го выгона они лишились.

Тем не менее в округе сохранялось убеждение, что Вэрская пустошь — общественная собственность. Браконьеры, пробираясь туда за фазанами и кроликами, испытывали меньше угрызений совести, чем в других местах, а однажды — о ужас! — оказалось, что там в укромной ложине неизвестно сколько уже месяцев ютится цыганский табор. Изгоев — простите за каламбур — немедленно изгнали, но воспоминание об их присутствии осталось и вскоре слилось с воспоминанием о маленькой девочке, которая примерно в это же время исчезла из близлежащей деревни. Никто не сомневался, что цыгане ее похитили, бросили в котел в качестве приправы для рагу из кроликов, а косточки закопали. Цыгане не англичане, а следовательно, почти наверняка людоеды.

Но самое тяжкое обвинение против Вэрской пустоши было связано с еще более постыдными делами: проселочная дорога, ведущая к сыроварне и дальше на лесистый выгон, хотя ее никогда и не называли этим широко распространенным в сельской местности именем, была *de facto*² Тропой Любви. Каждое лето сюда тянулись влюбленные пары. Предлогом служила кружка молока в сыроварне, а множество заманчивых тропинок на обратном пути вело в укромные уголки, защищенные зарослями орляка и боярышника.

¹ Присоединение (нем.); имеется в виду незаконное присоединение Австрии Гитлером в 1938 г.

² Фактически (лат.).

¹ Не трогай меня (лат.).

Одной этой тайной язвы самой по себе было уже достаточно, но существовало нечто пострашнее. С незапамятных времен (задолго до Шекспира) повелось, что в ночь накануне Иванова дня молодежь, захватив с собой фонари, скрипача и пару бочонков сидра, отправлялась в чащу леса на Ослиный луг и там устраивала танцы по случаю летнего солнцестояния. Кое-кто, правда, поговаривал, будто после полуночи было больше пьянства, чем танцев, а еще более суровые блюстители нравов утверждали, будто не было ни того ни другого, а происходило нечто совершенно иное.

Научное земледелие в форме миксоматоза в самое последнее время лишило нас Ослиного луга; впрочем, с падением нравов и сам обычай тоже был забыт. Уже много лет подряд на Ослином лугу в Иванову ночь кувыркаются одни только лисята и барсучата. Но в 1867 году дело обстояло далеко не так.

Всего лишь годом раньше дамский комитет под предводительством миссис Поултни потребовал от муниципальных властей загородить дорогу забором, воздвигнуть ворота и запереть их на замок. Однако верх взяли более демократичные голоса. Право прохода по чужой земле должно остаться священным и неприкосновенным, и среди членов городского совета нашлось даже несколько гнусных сластолюбцев, которые утверждали, будто прогулка в сыроварню — вполне невинное развлечение, а бал на Ослином лугу — всего лишь ежегодная забава. Однако в обществе более респектабельных обывателей достаточно было сказать о юноше или девушке: «они с Вэрской пустоши», чтобы обмазать их дегтем на всю жизнь. Юноша тем самым превращался в сатира, а девушка — в подзаборную потаскушку.

Поэтому в тот вечер, когда миссис Фэрли стель самоотверженно заставила себя выполнить свой долг, Сара, возвратившись с прогулки, нашла, что миссис Поултни готовится встретить ее во всеоружии и, я бы даже сказал, с помпой. Явившись в личную гостиную миссис Поултни для ежевечернего чтения Библии, она очутилась как бы против жерла нацеленной на нее пушки. Было совершенно очевидно, что пушка вот-вот выстрелит, и притом со страшным грохотом.

Сара направилась в угол комнаты, где на аналое покоилась большая «семейная» Библия — не то, что вы подразумеваете под семейной Библией, а Библия, из которой были благочестиво изъяты некоторые совершенно необъяснимые в Священном Писании погрешности против хорошего вкуса, вроде Песни Песней царя Соломона. Она сразу заметила что-то неладное.

— Что случилось, миссис Поултни?

— Случилось нечто ужасное, — отвечала аббатиса. — Я даже не поверила своим ушам.

— Что-нибудь про меня?

— Мне не следовало слушаться доктора. Мне следовало слушаться лишь велений собственного здравого смысла.

— Что я сделала?

— Я уверена, что вы вовсе не сумасшедшая. Вы хитрая, испорченная особа. Вы отлично знаете, что вы сделали.

— Я могу поклясться на Библии....

Но миссис Поултни окинула ее негодующим взглядом.

— Вы не посмеете! Это кощунство!

Сара подошла и остановилась перед своей госпожой.

— Я настоятельно прошу вас объяснить, в чем меня обвиняют.

Миссис Поултни сказала. К ее изумлению, Сара ничуть не смутилась.

— Но разве гулять по Вэрской пустоши — это грех?

— Грех? Вы, молодая женщина, одна в таком месте!

— Но, сударыня, ведь это всего-навсего большой лес.

— Я прекрасно знаю, что это такое. И что там делается. И кто туда ходит.

— Туда никто не ходит. Поэтому я там и гуляю — чтобы побыть одной.

— Вы мне возражаете, мисс? Неужели вы думаете, я не знаю, о чем говорю?

Тут следует заметить, что, во-первых, миссис Поултни никогда в глаза не видела Вэрской пустоши, даже издали, ибо ее не было видно ни с какой проезжей для карет дороги. Во-вторых, она была морфинисткой, но прежде чем вы подумаете, что я сумасбродно жертвую правдоподобием ради сенсации, спешу добавить, что она этого не знала. То, что мы называем морфием, она называла лауданумом. Один хитроумный, хотя и нечестивый врач тех времен называл его «лорданум», ибо многие благородные (и не только благородные) дамы — а снадобье это в виде «сердечных капель Годфри» было достаточно дешевым, чтобы помочь всем классам общества пережить черную ночь женской половины рода человеческого, — вкушали его гораздо чаще, чем святое причастие. Короче говоря, это было нечто вроде успокаивающих пилюль нашего века. Почему миссис Поултни стала обитательницей викторианской «долины спящих красавиц», спрашивать нет нужды, важно лишь, что лауданум, как некогда открыл Кольридж, навеивает живые сны.

Я не могу даже представить себе, какую картину в стиле Босха много лет рисовала в своем воображении миссис Поултни, какие сатанинские оргии чудились ей за каждым деревом, какие французские извращения под каждым листком на Вэрской пустоши. Но, кажется, мы можем с уверенностью считать это объективным коррелятом всего происшедшего в ее собственном подсознании.

Вспышка хозяйки заставила замолчать и ее самое, и Сару. Выпустив заряд, миссис Поултни начала менять курс.

— Вы меня глубоко огорчили.

— Но откуда мне было знать? Мне запрещено ходить к морю. Ну что ж, к морю я не хожу. Я ищу одиночества. Вот и все. Это не грех. За это меня нельзя назвать грешницей.

— Разве вы никогда не слыхали, что говорят о Вэрской пустоши?

— В том смысле, какой вы имеете в виду, — никогда.

Негодование девушки заставило миссис Поултни

несколько сбавить тон. Она вспомнила, что Сара лишь недавно поселилась в Лайме и вполне могла не знать, какой позор она на себя навлекает.

— Пусть так. Но да будет вам известно, что я не разрешаю никому из моих служащих гулять там или по соседству. Вы должны ограничить свои прогулки более приличными местами. Вы меня поняли?

— Да. Я должна ходить стезями добродетели.

На какую-то ужасную долю секунды миссис Поултни показалось, что Сара над нею смеется, но глаза девушки были смиренно опущены долу, словно она произносила приговор самой себе, и ведь в конце концов добродетель и страдание — одно и то же.

— В таком случае я не желаю больше слышать об этих глупостях. Я делаю это для вашей же пользы.

— Я знаю, — тихо промолвила Сара: — Благодарю вас, сударыня.

Больше ничего не было сказано. Она взяла Библию и стала читать помеченный миссис Поултни отрывок — тот же, что был выбран для первой беседы, а именно псалом 118: «Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе господнем». Сара читала глухим голосом и, казалось, без всякого чувства. Старуха смотрела в скрытый сумраком дальний конец комнаты; она напоминала языческого идола и словно забыла о кровавой жертве, которой требовало ее безжалостное каменное лицо.

В эту ночь Сару можно было видеть — хоть я ума не приложу, кто, кроме пролетающей совы, мог бы ее увидеть, — у открытого окна ее неосвещенной спальни. В доме, равно как и во всем городе, царил тишина — ведь до открытия электричества и телевидения люди ложились спать в девять вечера. Был уже час ночи. Сара, в ночной сорочке, с распущенными волосами, не сводила глаз с моря. Далекий фонарь слабо мерцал на черной воде в стороне Портленд-Билла — какое-то судно направлялось в Бридпорт. Сара заметила эту крошечную светлую точку, но тотчас о ней позабыла.

Подойдя еще ближе, вы увидели бы, что по лицу ее текут молчаливые слезы. Она стояла у окна не на своей таинственной вахте в ожидании парусов Сатаны, а собиралась из этого окна выбраться.

Я не буду заставлять ее раскачиваться на подоконнике, высовываться наружу, а потом, рыдая, валиться на истертый ковер, покрывавший пол ее комнаты. Мы знаем, что через две недели после этого происшествия она была жива и, следовательно, из окна не выбросилась. К тому же слезы ее не были истерическими рыданиями, которые предвещают самоубийство, — это были слезы скорби, вызванной скорее глубокими внешними причинами, нежели душевными переживаниями, слезы, которые текут медленно, безостановочно, как кровь, что сочится сквозь бинты.

Кто же такая Сара?

Из какого сумрака она явилась?

Но темны помышленья Творца, и не нам их дано
разгадать...
А. Теннисон. *Мод* (1855)

Не знаю. Все, о чем я здесь рассказываю, — сплошной вымысел. Герои, которых я создаю, никогда не существовали за пределами моего воображения. Если до сих пор я делал вид, будто мне известны их сокровенные мысли и чувства, то лишь потому, что, усвоив в какой-то мере язык и «голос» эпохи, в которую происходит действие моего повествования, я аналогичным образом придерживаюсь и общепринятой тогда условности: романист стоит на втором месте после Господа Бога. Если он и не знает всего, то пытается делать вид, что знает. Но живу я в век Алена Роб-Грийе и Ролана Барта, а потому если это роман, то никак не роман в современном смысле слова.

Но, возможно, я пишу транспонированную автобиографию, возможно, я сейчас живу в одном из домов, которые фигурируют в моем повествовании, возможно, Чарльз не кто иной, как я сам в маске. Возможно, все это лишь игра. Женщины, подобные Саре, существуют и теперь, и я никогда их не понимал. А возможно, под видом романа я пытаюсь подсунуть вам сборник эссе. Возможно, вместо порядковых номеров мне следовало снабдить главы названиями вроде: «Горизонтальность бытия», «Иллюзии прогресса», «История романной формы», «Этиология свободы», «Некоторые забытые аспекты викторианской эпохи»... да какими угодно.

Возможно, вы думаете, что романисту достаточно дернуть за соответствующие веревочки и его марионетки будут вести себя как живые и по мере надобности представлять ему подробный анализ своих намерений и мотивов. На данной стадии (глава тринадцатая, в которой раскрывается истинное умонастроение Сары) я действительно намеревался сказать о ней все — или все, что имеет значение. Однако я внезапно обнаружил, что подобен человеку, который в эту студеную весеннюю ночь стоит на лужайке и смотрит на тускло освещенное окно в верхнем этаже Мальборо-хауса; и я знаю, что в контексте действительности, существующей в моей книге, Сара ни за что не стала бы, утерев слезы, высовываться из окна и выступать с целой главой откровенных признаний. Случись ей увидеть меня в ту минуту, когда взошла луна, она бы тотчас повернулась и исчезла в окутывавшем ее комнату сумраке.

Но ведь я романист, а не человек в саду, так разве я не могу следовать за ней повсюду, куда мне заблагорассудится? Однако возможность — это еще не вседозволенность. Мужья нередко имеют возможность приколоть своих жен (и наоборот) и выйти сухими из воды. Но не приканчивают.

Вы, быть может, полагаете, что романисты всегда заранее составляют планы своих произведений, так что будущее, предсказанное в главе первой, непременно претворится в действительность в главе тринадцатой. Однако романистами движет бесчисленное множество разных причин: кто пишет ради денег, кто — ради славы, кто — для критиков, родителей, возлюбленных,

друзей; кто — из тщеславия, из гордости, из любопытства, а кто — просто ради собственного удовольствия, как столяры, которым нравится мастерить мебель, пьяницы, которым нравится выпивать, судьи, которым нравится судить, сицилианцы, которым нравится всаживать пули в спину врагу. Причин хватит на целую книгу, и все они будут истинными, хотя и не будут отражать всю истину. Лишь одна причина является общей для всех нас — мы все хотим создать миры такие же реальные, но не совсем такие, как тот, который существует. Или существовал. Вот почему мы не можем заранее составить себе план. Мы знаем, что мир — это организм, а не механизм. Мы знаем также, что мир, созданный по всем правилам искусства, должен быть независим от своего создателя; мир, сработанный по плану (то есть мир, который ясно показывает, что его сработали по плану), — это мертвый мир. Наши герои и события начинают жить только тогда, когда они перестают нам повиноваться. Когда Чарльз оставил Сару на краю утеса, я велел ему идти прямо в Лайм-Риджис. Но он туда не пошел, а ни с того ни с сего повернул и спустился к сыроварне.

Да бросьте, скажете вы, на самом-то деле, пока вы писали, вас вдруг осенило, что лучше заставить его остановиться, выпить молока... и снова встретить Сару. Разумеется, и такое объяснение возможно, но единственное, что я могу сообщить — а ведь я свидетель, заслуживающий наибольшего доверия, — мне казалось, будто эта мысль определенно исходит не от меня, а от Чарльза. Мало того, что герой начинает обретать независимость, — если я хочу сделать его живым, я должен с уважением относиться к ней и без всякого уважения к тем квазибожественным планам, которые я для него составил.

Иными словами, чтобы обрести свободу для себя, я должен дать свободу и ему, и Тине, и Саре, и даже отвратительной миссис Поултни. Имеется лишь одно хорошее определение Бога: свобода, которая допускает существование всех остальных свобод. И я должен придерживаться этого определения.

Романист до сих пор еще Бог, ибо он творит (и даже самому что ни на есть алеаторическому авангардистскому роману не удалось окончательно истребить своего автора); разница лишь в том, что мы не боги викторианского образца, всезнающие и всемогущие, мы — боги нового теологического образца, чей первый принцип — свобода, а не власть.

Я бессовестно разрушил иллюзию? Нет. Мои герои существуют, и притом в реальности не менее или не более реальной, чем та, которую я только что разрушил. Вымысел пронизывает все, как заметил один грек тысячи две с половиной лет назад. Я нахожу эту новую реальность (или нереальность) более веской, и хорошо, если вы разделите мою уверенность, что я команду этими порождениями моей фантазии не больше, чем вы — как бы вы ни старались, какую бы новую миссис Поултни собою ни являли — командуете своими детьми, коллегами, друзьями и даже самими собой.

Но ведь это ни с чем не сообразно? Персонаж либо «реален», либо «воображаем». Если вы, *hypocrite lecteur!*

и в самом деле так думаете, мне остается только улыбнуться. Даже ваше собственное прошлое не представляется вам чем-то совершенно реальным — вы наряжаете его, стараетесь обелить или очернить, вы его редактируете, кое-как латаете... словом, превращаете в художественный вымысел и убираете на полку — это ваша книга, ваша романизированная биография. Мы все бежим от реальной реальности. Это главная отличительная черта *Homo sapiens*²

Поэтому, если вы думаете, что сие злополучное (глава-то ведь все-таки тринадцатая) отступление не имеет ничего общего с ватшей Эпохой, с вашим Прогрессом, Обществом, Эволюцией и прочими ночными призраками с заглавной буквы, которые бренчат цепями за кулисами этой книги, я не стану спорить. Но все равно буду держать вас под подозрением.

Итак, я сообщаю лишь внешние обстоятельства, а именно, что Сара плакала в темноте, но не покончила самоубийством; что она, вопреки строжайшему запрету, продолжала бродить по Вэрской пустоши. Вот почему в каком-то смысле она и впрямь выбросилась из окна и жила как бы в процессе затянувшегося падения, ибо рано или поздно миссис Поултни неизбежно должна была узнать, что грешница упорствует в своем грехе. Правда, теперь Сара ходила в лес реже, чем привыкла, — лишение, которое вначале облегчили две недели дождливой погоды. Правда и то, что она приняла кое-какие меры предосторожности. Проселок постепенно переходил в узкую тропу, немногим лучше этого образцового проселка, а тропа, изгибаясь, спускалась в широкую ложину, известную под названием Вэрской долины, и затем на окраине Лайма соединялась с главной проезжей дорогой, ведущей на Сидмут и Эксетер. В Вэрской долине было несколько уважаемых домов, и потому она считалась вполне приличным местом для прогулок. К счастью, из этих домов не видно было то место, где проселок переходит в тропу. Там Саре достаточно было удостовериться, что кругом никого нет. Однажды ей захотелось погулять по лесу. Выйдя на дорогу к сыроварне, она увидела на повороте верхней тропы двоих гуляющих, направилась прямо к ним, скрылась за поворотом, и, убедившись, что они идут не к сыроварне, повернула назад и, никем не замеченная, углубилась в чащу.

Она рисковала встретить других гуляющих на самом проселке, и, кроме того, всегда оставался риск попасться на глаза сыровару и его домочадцам. Но этой последней опасности ей удалось избежать — оказалось, что одна из таинственных тропинок, уводящих наверх, в заросли орляка, огибая сыроварню, ведет круглым путем в лес. По этой тропе она всегда и ходила вплоть до того дня, когда столь опрометчиво — как мы теперь понимаем — появилась прямо перед обоими мужчинами.

Причина была проста. Она проспала и боялась

¹ Лицемерный читатель (*фр.*) — цитата из «Цветов зла» Шарля Бодлера.

² Человек разумный (*лат.*).

опоздать к чтению Библии. В этот вечер миссис Поултни была приглашена обедать к леди Коттон, и чтение перенесли на более ранний час, чтобы дать ей возможность подготовиться к тому, что всегда было — по сути, если не по видимости — оглушительным столкновением двух бронтозавров, и хотя стальные хрящи заменял черный бархат, а злобный скрежет зубов — цитаты из Библии, битва оставалась не менее жестокой и беспощадной.

Кроме того, Сару испугало лицо Чарльза, смотревшего на нее сверху; она почувствовала, что скорость ее падения возрастает, а когда неумолимая земля несется навстречу и падаешь с такой высоты — к чему предосторожности?

14

— По моему мнению, мистер Эллиот, хорошее общество — это общество умных, образованных людей, у которых есть много тем для беседы. Вот что я называю хорошим обществом.

— Вы ошибаетесь, — мягко возразил он, — это не просто хорошее общество, это — лучшее общество. Хорошее общество требует только благородного происхождения, образования и изящных манер, хотя, если говорить об образовании, то я бы не назвал его блестящим.

Джейн Остин. Убеждение

Хотя в XIX веке посетителей Лайма и не подвергали в полном смысле слова тяжкому испытанию, через которое надлежало пройти чужеземцам, посещавшим древнегреческие колонии, — Чарльзу не пришлось держать речь в стиле Перикла и читать подробную сводку международных событий со ступеней городской ратуши, — от них, несомненно, ожидали, что они позволят на себя глазеть и вступать с собою в разговор. Эрнестина заранее предупредила Чарльза, что он должен считать себя не более как диким зверем в клетке и постараться добродушно терпеть, когда все кому не лень станут бесцеремонно пялить на него глаза или тыкать в него зонтиком. Итак, ему приходилось три раза в неделю вместе со своими дамами наносить визиты и страдать от смертельной скуки, единственной наградой за которую была прелестная сценка, регулярно повторявшаяся по возвращении в дом тетушки Трэнтер. Эрнестина тревожно заглядывала ему в глаза, помутневшие от пошлой болтовни, и говорила: «Это было ужасно? Вы можете меня простить? Вы меня ненавидите?», а когда он улыбался, бросалась ему на шею, словно он чудом спасся от бунта или снежной лавины.

Случилось так, что на следующее утро после того, как Чарльз открыл террасы, снежная лавина была уготована ему в Мальборо-хаусе. Во всех этих визитах не было ни тени случайности или принужденности. Да и не могло быть, потому что в таком маленьком городке гости и хозяева менялись ролями с невероятной быстротой, строго придерживаясь ими же установленным протоколом. Чарльз навряд ли интересовал миссис Поултни больше, чем она Чарльза, но она была смертельно оскорблена, если бы его не притащили к ней в цепях, чтобы она могла попать его своею

толстой ножкой — и как можно скорее после его прибытия, ибо чем позже визит, тем меньше чести.

Разумеется, «приезжие» были всего лишь пешками в игре. Сами по себе визиты значения не имели; зато сколько удовольствия можно было из них извлечь! «Милая миссис Трэнтер так хотела, чтоб я первой познакомилась...» Или: «Удивляюсь, что Эрнестина до сих пор у вас не побывала; нас она балует — уже два визита...» Или: «Я уверена, что это просто недоразумение; миссис Трэнтер — добрейшая душа, но она так рассеянна...» Пальчики оближешь, да и только. Эти и другие подобные возможности сладострастно повернуть светский кинжал в ране ближнего определялись запасом «именитых» визитеров вроде Чарльза. Поэтому у него было столько же шансов избежать своей участи, сколько у жирной мыши избежать когтей голодной кошки, точнее, нескольких десятков голодных кошек.

Когда наутро после упомянутой встречи в лесу доложили о визите миссис Трэнтер и ее молодых спутников, Сара тотчас поднялась, чтобы уйти. Однако миссис Поултни, которую мысль о молодом счастье всегда раздражала и которая после вечера, проведенного у леди Коттон, имела более чем достаточно причин для раздражения, велела ей остаться. Эрнестину она считала легкомысленной молодой особой и не сомневалась, что и ее нареченный окажется легкомысленным молодым человеком, а потому сочла чуть ли не своим долгом привести их в замешательство. К тому же она знала, что подобные светские обязанности для грешника хуже власяницы. Все складывалось как нельзя лучше.

Гостей ввели в комнату. Миссис Трэнтер, шелестя шелками и излучая доброжелательность, бросилась вперед. Сара скромно держалась на заднем плане, мучительно ощущая себя лишней, а Чарльз с Эрнестиной непринужденно остановились в ожидании позади обеих почтенных дам, чье знакомство, насчитывавшее не один десяток лет, требовало хотя бы символических объятий. Затем хозяйке представили Эрнестину, которая, прежде чем пожать протянутую ей царственную руку, изобразила некое слабое подобие реверанса.

— Здравствуйте, миссис Поултни. Вы чудесно выглядите.

— В моем возрасте, мисс Фримен, важно лишь душевное здоровье.

— В таком случае я за вас совершенно спокойна.

Миссис Поултни не прочь была и дальше развивать эту интересную тему, но Эрнестина повернулась, чтобы представить ей Чарльза, и он почтительно склонился над рукой старухи.

— Рад познакомиться с вами, сударыня. Какой прелестный дом.

— Для меня он слишком велик. Я держу его ради моего дорогого супруга. Я знаю, что он бы этого желал... вернее, желает.

7 Минувя взглядом Чарльза, она уставилась на главную домашнюю икону — портрет Фредерика Поултни, выполненный маслом всего лишь за два года до его смерти, в 1851 году, из коего со всей очевидностью следовало, что это был мудрый, достойный, благообразный человек

и добрый христианин, во всех отношениях превосходящий большинство смертных. Добрым христианином он, несомненно, был и в высшей степени достойным человеком тоже, но для изображения других качеств живописцу пришлось напрячь всю свою фантазию. Давно почивший в бозе мистер Поултни был полнейшим, хотя и очень богатым ничтожеством, и единственным значительным поступком всей его жизни был его уход из оной. Чарльз с приличествующим случаю почтением рассматривал этого гостя с того света.

— Разумеется. Я понимаю. Вполне естественно.

— Их желания следует выполнять.

— Вы совершенно правы.

Миссис Трэнтер, которая уже успела улыбнуться Саре, решила воспользоваться ее присутствием, чтобы прервать эту заупокойную входную молитву.

— Милая мисс Вудраф, я так рада вас видеть.— Подойдя к Саре, она пожала ей руку, посмотрела на нее взглядом, исполненным искренней заботы, и, понизив голос, сказала: — Не зайдете ли вы ко мне — когда уедет моя дорогая Тина?

Лицо Сары на секунду неузнаваемо изменилось. Упомянутый выше компьютер в ее сердце давно уже оценил миссис Трэнтер и заложил в память эту информацию. Ставшая привычной в присутствии миссис Поултни личина сдержанности и независимости, которые грозили перейти в открытое неповиновение, мгновенно спала. Она даже улыбнулась, хотя и грустно, и еле заметно кивнула: если смогу, то приду.

Настала очередь представить друг другу остальных. Девицы обменялись холодными кивками, а Чарльз поклонился. Он внимательно наблюдал за Сарой, но она ничем не выдала, что уже дважды встречалась с ним накануне, и старательно избегала его взгляда. Ему очень хотелось узнать, как эта дикарка станет вести себя в клетке, но вскоре он с разочарованием убедился в ее полнейшей кротости. За исключением тех случаев, когда миссис Поултни просила Сару что-нибудь принести или позвонить, чтобы дамам подали горячего шоколада, она совершенно ее игнорировала. Точно так же — с неудовольствием заметил Чарльз — поступала и Эрнестина. Миссис Трэнтер изо всех сил старалась втянуть Сару в общую беседу, но та сидела в стороне с отсутствующим и безучастным видом, который можно было принять за сознание своего подчиненного положения. Сам он несколько раз вежливо адресовался к ней за подтверждением какой-либо мысли, но без всякого успеха. Она отвечала односложно и по-прежнему избегала его взгляда.

Лишь к концу визита Чарльз начал понимать истинную подоплеку ее поведения. Ему стало ясно, что молчаливая кротость совсем не в характере Сары, что, следовательно, она играет роль и что она отнюдь не разделяет и не одобряет взглядов своей хозяйки. Миссис Поултни и миссис Трэнтер — причем одна хмуро бурчала, а вторая благодушно журчала — были поглощены светской беседой, обладавшей свойством тянуться сколь угодно долго, несмотря на сравнительно ограниченное число освященных этикетом тем: прислуга, погода, предстоящие крестины, похороны и свадьбы, мистер Дизраэли и мистер Гладстон (последний сюжет,

очевидно, ради Чарльза, хотя он дал миссис Поултни повод сурово осудить личные принципы первого и политические принципы второго)¹, затем последняя воскресная проповедь, недостатки местных лавочников, а отсюда, естественно, опять прислуга. И пока Чарльз улыбался, поднимал брови и согласно кивал, пробираясь через это знакомое чистилище, он пришел к выводу, что молчаливая мисс Вудраф страдает от ощущения несправедливости и — обстоятельство, не лишенное интереса для внимательного наблюдателя — странным образом почти не пытается это скрыть.

Это свидетельствует о проницательности Чарльза: то, что он заметил, ускользнуло почти от всех остальных обитателей Лайма. Возможно, однако, вывод его остался бы всего лишь подозрением, если бы хозяйка дома не разразилась типичным поултнизмом.

— А та девушка, которой я отказала от места... она не доставляет вам неприятностей?

— Мэри? — улыбнулась миссис Трэнтер.— Да я ни за что на свете с нею не расстанусь.

— Миссис Фэрли говорит, что сегодня утром видела, как с ней разговаривал какой-то мужчина.— Слово «мужчина» миссис Поултни произнесла так, как французский патриот во время оккупации мог бы произнести слово «наци».— Молодой мужчина. Миссис Фэрли его не знает.

Эрнестина бросила острый и укоризненный взгляд на Чарльза, и он в ужасе чуть было не принял это замечание на свой счет, но тотчас догадался, о ком идет речь.

Он улыбнулся.

— Тогда это наверняка был Сэм. Мой слуга, сударыня,— пояснил он, обращаясь к миссис Поултни.

— Я как раз хотела вам сказать,— вмешалась Эрнестина, избегая его взгляда.— Я вчера тоже видела, как они разговаривали.

— Но разве... разве мы можем запретить им разговаривать при встрече?

— Существует огромная разница между тем, что возможно в Лондоне, и тем, что допустимо здесь. Помоему, вам следует поговорить с Сэмом. Эта девушка чересчур легкомысленна.

Миссис Трэнтер обиделась.

¹ Быть может, справедливости ради следует сказать, что весной 1867 года неодобрительное мнение этой дамы разделяли многие другие. В том году мистер Гладраэли и мистер Дизистон совместно проделали головокружительное сальтомортале. Ведь мы порой забываем, что Великий Либерал отчаянно сопротивлялся принятию последнего великого Билля о реформе, внесенного Отцом Современного Консерватизма и ставшего законом в августе того же года. Поэтому тори, подобные миссис Поултни, обнаружили, что от ужасной перспективы стать свидетелями того, как их челядь еще на один шаг приблизилась к избирательным урнам, их защищает не кто иной, как лидер партии, столь ненавистной им практически во всех остальных отношениях. Маркс в одной из своих статей в «Нью-Йорк Геральд Трибюн» заметил: «Таким образом, виги, по признанию их собственного историка, на деле представляют собой нечто весьма отличное от провозглашаемых ими «либеральных и просвещенных принципов». Эта партия, таким образом, оказывается точь-в-точь в положении того пьяницы, который, представ перед лорд-мэром, утверждал, что он в принципе сторонник трезвости, но по воскресеньям каждый раз совершенно случайно напивается пьяным». Этот тип еще не вымер. (Примеч. автора.)

— Эрнестина, дитя мое, она, быть может, чересчур бойкая, но у меня никогда не было ни малейшего повода...

— Милая тетя, я знаю, как вы к ней добры.

Чарльз уловил в ее голосе жесткую нотку и вступился за обиженную миссис Трэнтер.

— Хорошо, если бы все хозяйки были столь же добры. Ничто так ясно не свидетельствует о счастье в доме, как счастливая горничная у его дверей.

В ответ Эрнестина опустила глаза, выразительно поджав губы. Добродушная миссис Трэнтер слегка покраснела от этого комплимента и тоже опустила глаза. Миссис Поултни не без удовольствия выслушала их перепалку и пришла к заключению, что Чарльз несимпатичен ей вполне достаточно для того, чтобы ему нагрубить.

— Ваша будущая супруга более сведуща в таких делах, чем вы, мистер Смитсон. Я знаю эту девушку, мне пришлось отказать ей от места. Будь вы постарше, вы бы знали, что в таких делах необходима крайняя строгость.

И тоже опустила глаза — способ, которым она давала понять, что вопрос ею решен, а следовательно, исчерпан раз и навсегда.

— Я склоняюсь перед вашим жизненным опытом, сударыня.

Однако тон его был откровенно холоден и насмешлив.

Все три дамы сидели, потупив взор: миссис Трэнтер — от смущения, Эрнестина — от досады на себя, ибо она вовсе не хотела навлечь на Чарльза столь унижительный выговор и жалела, что не промолчала, а миссис Поултни оттого, что она была миссис Поултни. И тут наконец Сара с Чарльзом незаметно от дам обменялись взглядом. Этот мимолежный взгляд был красноречивее всяких слов. Два незнакомца признались друг другу, что у них общий враг. Впервые Сара смотрела на него, а не сквозь него, и Чарльз решил, что он отомстит миссис Поултни, а заодно и преподаст Эрнестине столь очевидно необходимый ей урок человечности.

Он вспомнил также свою недавнюю стычку с отцом Эрнестины по поводу Чарльза Дарвина. В стране и без того безраздельно царит ханжество, и он не потерпит его в девушке, на которой собирается жениться. Он поговорит с Сэмом, да, видит Бог, он поговорит с Сэмом.

Как он с ним говорил, мы сейчас узнаем. Но общее направление этого разговора было, в сущности, уже предрешено, потому что упомянутый миссис Поултни «мужчина» в эту самую минуту сидел на кухне в доме миссис Трэнтер.

Этим утром Сэм действительно встретил Мэри на Куми-стрит и с невинным видом спросил, нельзя ли доставить сажу через час. Он, разумеется, отлично знал, что обе дамы в это время будут в Мальборо-хаусе.

Разговор, состоявшийся на кухне, оказался на удивление серьезным, гораздо серьезнее разговора в гостиной миссис Поултни. Мэри, скрестив свои пухлые ручки, прислонилась к большому кухонному столу; из-под ее косынки выбилась непокорная прядь золотистых волос. Время от времени она задавала вопросы, но говорил главным образом Сэм, хотя он по большей части обращался к длинной, чисто выскобленной столешнице.

Лишь изредка глаза их встречались, но они тотчас согласно отводили друг от друга смущенные взгляды.

15

...что касается трудящихся классов, то полудикие нравы предыдущего поколения сменились глубокой и почти всеобщей чувственностью...

Доклад о положении в горнопромышленных районах (1850)

...И увлеченья прежних дней
Проводит беглою улыбкой.

А. Теннисон. In Memoriam (1850)

Когда настало утро и Чарльз принялся грубо зондировать сердце кокни Сэма, он вовсе не предавал Эрнестину — что бы там ни произошло у миссис Поултни. Вскоре после вышеописанного обмена любезностями они ушли, и всю дорогу вниз на Брод-стрит Эрнестина молчала. Добравшись до дому, она постаралась остаться наедине с Чарльзом, и как только за тетей Трэнтер закрылась дверь, без обычных предварительных самообвинений бросилась ему на шею и расплакалась. Это было первое недоразумение, омрачившее их любовь, и оно привело ее в ужас: подумать только, ее милого, славного Чарльза унизила какая-то отвратительная старуха, и все из-за того, что задела ее, Эрнестинино, самолюбие. Когда он покорно похлопал ее по спине и вытер ей платком глаза, она чистосердечно в этом призналась. В отместку Чарльз запечатлел по поцелую на каждом мокром веке и тут же все ей простил.

— Милая моя глупышка Тина, почему мы должны запрещать другим то, что принесло нам самим столько счастья? Что, если эта скверная девчонка и мой негодник Сэм влюбятся друг в друга? Нам ли бросать в них камень?

Она улыбнулась.

— Вот что бывает, когда пытаешься подражать взрослым.

Он опустился на колени рядом с ее стулом и взял ее руку.

— Милое дитя, вы всегда останетесь для меня такой.

Она наклонилась поцеловать ему руку, а он, в свою очередь, поцеловал ее в макушку.

— Еще восемьдесят восемь дней, — прошептала она. — Даже подумать страшно.

— Давайте убежим. И поедem в Париж.

— Чарльз! Как вам не стыдно!

Она подняла голову, и он поцеловал ее в губы. Она забила в уголок кресла, в глазах ее блеснули слезы, она покраснела, а сердце — слишком слабое для столь резкой смены чувств — забило так быстро, что она едва не потеряла сознание. Чарльз игриво пожал ей руку.

— Что, если б нас сейчас увидела достопочтенная миссис Поултни?

Закрыв лицо руками, Эрнестина расхохоталась, ее смех передался Чарльзу, заставил его подойти к окну и изобразить человека, преисполненного чувства собственного достоинства, однако он тут же невольно оглянулся и увидел, что она, раздвинув пальцы,

незаметно за ним подглядывает. В тихой комнате снова слышались сдавленные смешки. Обоих поразила одна и та же мысль — какой чудесной свободой одарила их эпоха, как чудесно быть поистине современными молодыми людьми, с поистине современным чувством юмора, на целую тысячу лет оставить позади...

— О Чарльз... о Чарльз, вы помните даму из ранней меловой эры?

Это вызвало новый приступ смеха и привело в полное недоумение миссис Трэнтер, которая как на иголках сидела в соседней комнате, чувствуя, что происходит ссора. В конце концов она набралась духу и вошла, надеясь поправить дело. Тина, все еще смеясь, бросилась ей на шею и расцеловала в обе щеки.

— Милая, славная тетя! Вы такая добрая. А я скверная, избалованная девчонка. Мне страшно надоело мое зеленое уличное платье. Можно, я подарю его Мэри?

Вот почему вечером того же дня Мэри вполне искренне помянула в своих молитвах Эрнестину. Я, правда, не уверен, что эти молитвы были услышаны, ибо, поднявшись с колен, Мэри, вместо того чтобы, как подобает всем добрым христианам, тотчас же лечь в постель, не смогла устоять против искушения последний раз примерить зеленое платье. Комнату освещала одна-единственная свеча, но еще не родилась та женщина, чья красота проиграла бы при свечах. Это облако пушистых золотых волос, эти зеленые переливы, эти колеблющиеся тени, это смущенное, восторженное, изумленное личико... Если бы Господь увидел Мэри в эту ночь, он наверняка пожелал бы обратиться в падшего ангела.

— Сэм, я пришел к заключению, что ты мне не нужен. — Лица Сэма Чарльз не видел, так как глаза его были закрыты. Его брили. Но по тому, как замерла бритва, ему стало ясно, что удар попал в цель. — Ты можешь возвратиться в Кенсингтон. — Наступившее молчание растопило бы сердце любого хозяина, не обладавшего столь садистскими наклонностями. — Ты имеешь что-то возразить?

— Да, сэр. Мне тут лучше.

— Я пришел к заключению, что ты затеял недоброе. Я знаю, что это твое естественное состояние. Но я предпочитаю, чтобы ты затевал недоброе в Лондоне. Который больше привык к затевальщикам недоброго.

— Я ничего худого не сделал, мистер Чарльз.

— Кроме того, я хочу избавить тебя от неприятных встреч с этой дерзкой горничной миссис Трэнтер. — Чарльз явственно услышал вздох и осторожно приоткрыл один глаз. — Разве это не мило с моей стороны?

Сэм остановившимся взглядом смотрел поверх головы Чарльза.

— Она попросила прощения. Я ее простил.

— Что? Эту коровницу? Быть того не может.

Тут Чарльзу пришлось поспешно закрыть глаза, чтобы избежать грубого шлепка кисточки с мыльной пеной.

— Невежество, мистер Чарльз. Сплошное невежество.

— Вот как. Значит, дело обстоит хуже, чем я думал. Тебе пора уносить ноги.

Но Сэм был сыт по горло. Пену он не смыл, и Чарльзу

пришлось открыть глаза, чтобы узнать, в чем дело. А дело было в том, что Сэма обуяла хандра, или, во всяком случае, нечто на нее похожее.

— Что случилось?

— Ничего, сэр.

— Не пытайся меня перехитрить. Тебе это все равно не удастся. А теперь выкладывай всю правду. Вчера ты клялся, что к ней и шипцами не притронешься. Надеюсь, ты не станешь это отрицать?

— Она сама ко мне пристала.

— Да, но где *gritum mobile*?¹ Кто к кому первый пристал?

Тут Чарльз увидел, что зашел слишком далеко. Бритва дрожала в руке Сэма, правда, не с человекоубийственными намерениями, но с едва сдерживаемым негодованием. Протянув руку, Чарльз отобрал у Сэма бритву и помахал ею у него под носом.

— Чтоб через двадцать четыре часа твоей ноги тут не было!

Сэм принялся вытирать умывальник полотенцем, предназначенным для господских щек. Воцарилось молчание; наконец он сдавленным голосом произнес:

— Мы не лошади. Мы люди.

Чарльз улыбнулся, встал, обошел Сэма сзади и, взяв его за плечо, повернул к себе.

— Извини, Сэм. Однако ты должен признать, что твои прежние отношения с прекрасным полом едва ли могли подготовить меня к такому обороту дела.

Сэм возмущенно уставился в пол. Его былой цинизм обернулся против него.

— Что до этой девушки, как бишь ее зовут? Мэри? С этой очаровательной мисс Мэри очень весело пошутить, но — дай мне кончить — но мне сказали, что у нее доверчивое доброе сердце. И я бы не хотел, чтобы ты его разбил.

— Да пускай мне руки отрубят, мистер Чарльз!

— Прекрасно. Я тебе и без этой ампутации верю. Но ты не пойдешь в этот дом и не будешь останавливать эту молодую особу на улице до тех пор, пока я не переговорю с миссис Трэнтер и не узнаю, как она смотрит на твои ухаживания.

При этих словах Сэм, который етоял, потупив взор, поглядел на Чарльза и горестно улыбнулся, словно молодой солдат, выпускающий дух на земле у ног своего командира.

— Пропащий я человек, сэр. Пропащий, да и только.

16

Мод, в расцвете весны, напевала старинный мотив — Пела о смерти в бою и о чести, не знающей смерти; Я внимал ей, вздыхая о прошлом, глухом и жестоком. И о том, как ничтожен я сам и ленив.

А. Теннисон. Мод (1855)

¹ Главная движущая сила (лат.).

Я вам признаюсь по чести: о тайном взаимном влеченье
Между мужчиной и женщиной долго я, други, не ведал.
Так получилось, что раз на каникулах, летом, в деревне
Брел я полями — бесцельно-уныло, как Теннисон пишет;
Брел, неуклюжий юнец — не дитя, но еще не мужчина, —
И в отдалении деву узрел с непокрытой главою...

Артур Хью Клаф. Лесная хижина (1848)

В течение следующих пяти дней никаких событий не произошло. Чарльзу не представилось возможности продолжить изучение террас. Однажды они совершили длительную экскурсию в Сидмут, остальные утра были заполнены визитами или другими, более приятными занятиями вроде стрельбы из лука. На ней в ту пору слегка помешались все английские девицы — обязательные темно-зеленые костюмы так всем к лицу, а дрессированные джентльмены, которые ходят вынимать стрелы из мишеней (в них близорукая Эрнестина — увы! — попадала очень редко) и возвращаются с прелестными шутками насчет Купидона, сердец и девицы Марианны, так милы.

По вечерам Эрнестина обычно уговаривала Чарльза остаться у тети Трэнтер, чтобы обсудить важные семейные дела — кенсингтонский дом был слишком мал, а дом в Белгравии, где они собирались в конце концов обосноваться, был сдан внаем, и срок аренды истекал лишь через два года. Маленькое недоразумение, казалось, заставило Эрнестину переменитьсь: она стала до того предупредительна и супружески заботлива, что Чарльз, по его словам, начал чувствовать себя каким-то турецким пашой и весьма неоригинально умолял ее хоть в чем-нибудь ему противоречить, а то он может забыть, что они собираются вступить в брак по христианскому закону.

Чарльз добродушно сносил этот внезапный приступ почтительности. Он догадался, что попросту застал Эрнестину врасплох: до их маленькой ссоры она была влюблена больше в замужество, чем в будущего мужа, теперь же оценила по достоинству его, а не только свой будущий юридический статус. Чарльз, надо признаться, такой переход от сдержанности к чувствительности временами находил чудоточку приторным. Ему, конечно, нравилось, что перед ним заискивают, что над ним дрожат, с ним советуются, к его мнению прислушиваются. Какому мужчине это не понравится? Но он много лет наслаждался свободной холостяцкой жизнью и был по-своему тоже скверным, избалованным мальчишкой. Ему все еще казалось странным, что утренние часы ему не принадлежат, что его дневные планы порой приходится приносить в жертву какому-нибудь Тининому капризу. Разумеется, его поддерживало чувство долга — коль скоро так следует вести себя мужьям, значит, и ему тоже, все равно как, отправляясь на прогулку за город, следует напяливать толстый суконный костюм и подбитые гвоздями башмаки.

А вечера! Долгие часы при свете газа, которые требовалось заполнить без помощи кино и телевидения. Для тех, кто зарабатывал себе на жизнь, такого вопроса не существовало: после двенадцатичасового рабочего дня вопрос, что делать после ужина, решается легко. Но пожалейте несчастных богачей; если днем им и разрешалось хоть немножко побыть в одиночестве, вечерами,

согласно неумолимым законам света, они обязаны были скучать в обществе. Посмотрим же, как Чарльз с Эрнестиной совершают переход через одну из подобных пустынь. От тетушки они по крайней мере избавлены: добрая миссис Трэнтер отправилась пить чай к больной соседке — старой деде, во всем, за исключением наружности и биографии, точной копии ее самой.

Чарльз непринужденно раскинулся на софе, подперев рукою голову — два пальца на щеке, два других и большой под подбородком, локоть на спинке софы, — и серьезно смотрит на Тину; Тина, сидящая на фоне экминстерского ковра, читает вслух, держа в левой руке красный сафьяновый томик, а в правой — каминный щит (он должен воспрепятствовать потрескивающим углям дерзко опалить ее целомудренную бледность), и им же она не очень точно отбивает очень точный размер стихотворного повествования, которое читает вслух.

Это бестселлер 1860-х годов — «Хозяйка замка Лагарэ» достопочтенной миссис Каролины Нортон, о котором не где-нибудь, а в самом «Эдинбургском обозрении» сказано: «Эта поэма — чистая, нежная, трогательная история страданий, скорби, любви, долга, благочестия и смерти». О том, чтобы наткнуться на столь великолепный набор типичных для середины викторианской эпохи существительных и прилагательных, можно лишь мечтать (а мне, хочу добавить, и в жизни ничего подобного не сочинить). Вы можете подумать, что миссис Нортон была всего лишь занудливой рифмоплетшей той эпохи. Стихи ее, как вы сейчас убедитесь, и в самом деле занудливы, сама же она была далеко не занудой. Начать с того, что она приходилась внучкой Шеридану, а кроме того, по слухам, была возлюбленной Мельбурна — во всяком случае, муж ее поверил этим слухам настолько, чтобы вчинить знаменитому государственному деятелю безуспешный иск о преступной связи, и, наконец, она была пламенной феминисткой или, как мы сказали бы сегодня, вольнодумкой.

Дама, именем которой названа поэма, — развеселая супруга развеселого французского аристократа — становится калекой вследствие несчастного случая на охоте и посвящает остаток своей неумеренно печальной жизни добрым делам, намного более полезным, чем дела леди Коттон, ибо она открывает больницу. Хотя действие происходит в XVII веке, это, без сомнения, хвалебная ода Флоренс Найтингейл. Вот почему поэма эта затронула сокровенные струны в столь многочисленных женских сердцах того десятилетия. Мы считаем, что великие реформаторы прошлого торжествуют над великим сопротивлением или великим равнодушием. Настоящей «леди с лампой», конечно, пришлось преодолевать и сопротивление, и равнодушие, но и сочувствие, как я уже где-то говорил, может порою оказаться почти столь же пагубным. Эрнестина читала эту поэму далеко не в первый раз; некоторые места она знала почти наизусть. И всякий раз, когда она ее читала (сейчас чтение, очевидно, было приурочено к Великому посту), она чувствовала, что возвышается духом, становится чище и достойнее. Мне остается лишь добавить, что она никогда в жизни не переступала порога больницы и не ухаживала ни за единым больным поселянином. Разумеется, родители никогда бы ей этого

не позволили, однако и у нее самой ничего подобного никогда и в мыслях не было.

Но — скажете вы — в ту пору женщины были прикованы к своей роли. Напомню вам, однако, дату этого вечера: 6 апреля 1867 года. Всего лишь неделей раньше Джон Стюарт Милль воспользовался одним из первых дебатов по Биллю о реформе в Вестминстере и заявил, что настало время предоставить женщинам избирательное право. Его смелую попытку (предложение было отклонено 196 голосами против 73, причем старый лис Дизраэли воздержался) простые смертные встретили улыбками, «Панч» — гоготом (одна карикатура изображала группу джентльменов, осаждающих министра женского пола, ха-ха-ха!), а унылое большинство образованных дам, почитавших главным источником своего влияния домашний очаг, неодобрительно нахмурило брови. Тем не менее 30 марта 1867 года мы можем датировать начало эмансипации женщин в Англии, и потому Эрнестину, хихикавшую над выпуском «Панча» за прошлую неделю, который показал ей Чарльз, никак нельзя совершенно оправдать.

Однако мы начали с викторианского вечера в домашнем кругу. Давайте же к нему вернемся. Слушайте. Чарльз слегка затуманенным, хотя и вполне приличествующим случаю взглядом смотрит в сосредоточенное лицо Эрнестины.

— Читать дальше?

— Вы читаете просто изумительно.

Она деликатно откашливается и снова берется за книгу. Только что произошел несчастный случай на охоте; владетель Лагарэ бросается к рухнувшей наземь супруге:

Он волосы ей гладит, обнимает,
И с трепетом с земли приподнимает;
В глаза ей смотрит, сам дыша едва:
Она мертва! Любовь его мертва!

Эрнестина строго взглядывает на Чарльза. Глаза его закрыты, словно он пытается представить себе эту трагическую сцену. Он торжественно кивает; он весь обратился в слух.

Эрнестина продолжает:

И, потрясенный, слышит тяжкий стук:
Так сердце в нем заколотилось вдруг —
И вновь остановилось, почему бы?..
Какой-то звук бледнеющие губы
Произнесли... Да, да! Она живет!
Она его по имени зовет!
«О, Клод!» — шепнула... И ни слова боле.
Но никогда такой блаженной боли
Не ведал он, как в этот дивный миг:
Он глубину любви своей постиг.

Последнюю строчку она произносит особенно многозначительно. Она снова смотрит на Чарльза. Глаза его все еще закрыты, но теперь он, очевидно, так взволнован, что даже не в состоянии кивать. Она тихонько переводит дух и, не спуская глаз с жениха, склоненного в глубоком раздумье, читает дальше:

«Ах, Клод, мне больно!» — «Ангел мой, Гертруда!»
Чуть слышный вздох — и на лице, о чудо,
Улыбки тень! Спасенье найдено!
Да ты уснул, бездушное бревно!

Молчание. У Чарльза такое лицо, словно он пришел на похороны. Еще один вздох и свирепый взгляд чтицы:

Блажен, кто, смерть иль муку принимая,
Уверен: рядом есть душа родная...

— Чарльз!

Поэма внезапно превращается в метательный снаряд, который больно бьет Чарльза по руке и падает на пол за софу.

— Что такое? — Эрнестина вскочила с кресла и стоит, весьма нехарактерно подбоченившись. Он приподнимается и бормочет:

— О Господи!

— Вы попались, сэр. Вам нет оправдания.

Однако Чарльзу, очевидно, удалось в достаточной мере оправдаться или покаяться, ибо на следующий же день во время обеда у него хватило храбрости высказать неудовольствие, когда Эрнестина в девятнадцатый раз предложила посоветоваться насчет убранства его кабинета в еще несуществующем доме. Расставание с уютной кенсингтонской квартиркой было далеко не самой легкой из предстоящих Чарльзу жертв, и он не мог больше слушать, как ему без конца об этом напоминают. Тетушка Трэнтер приняла его сторону, и ему милостиво разрешили после обеда «покопаться в его противных камнях».

Он сразу решил, куда ему пойти. Хотя в те минуты, когда он наткнулся на Подругу французского лейтенанта на горной лужайке, голова его была занята только ею, он тем не менее успел заметить у подножия небольшого уступа, на котором находилась эта лужайка, порядочные осыпи кремня. Разумеется, только это и заставило его туда отправиться. Новая вспышка любви и нежности между ним и Эрнестиной вытеснила из его сознания всякую мысль — кроме, быть может, самой случайной и мимолетной — о секретарше миссис Поултни.

Когда он подошел к месту, откуда надо было продираться навверх сквозь заросли куманики, мысль о ней естественно поразила его с новой остротой; он живо представил себе, как она в тот день здесь лежала. Однако, пройдя всю лужайку, он взглянул вниз на ее уступ, убедился, что там никого нет, и тотчас о ней позабыл. Он спустился к подножию уступа и начал разгребать осыпи в поисках своих иглокожих. День был гораздо холоднее, чем в прошлый раз. Солнце, на обычный апрельский манер, то и дело закрывало облака, но ветер дул с севера, и потому у подножия обращенного к солнцу уступа было очень тепло; когда же Чарльз увидел прямо у себя под ногами великолепный панцирь, очевидно, совсем недавно отколовшийся от материнской кремневой породы, ему стало еще теплее.

Однако минут через сорок ему пришлось смириться с мыслью, что удача его покинула, во всяком случае на кремневой осыпи под утесом. Он снова поднялся на лужайку и направился к тропинке, ведущей обратно в лес. И вдруг — какой-то шорох!

Она уже почти взобралась по круче и сейчас так старательно отдирала от пальто упорно цеплявшиеся за

него колючки, что не услышала приглушенных шагов Чарльза. При виде ее он тотчас остановился. Право пройти первой по узкой тропинке принадлежало ей. Но тут она его увидела. Они стояли в нескольких шагах друг от друга, оба явно смущенные, хотя и с очень разным выражением лица. Чарльз улыбался, а Сара смотрела на него с глубоким подозрением.

— Мисс Вудраф!

Она еле заметно кивнула и заколебалась, словно хотела повернуть обратно, но поняла, что он уступает ей дорогу, и заторопилась поскорее пройти. При этом она поскользнулась на предательском изгибе глинистой тропы и упала на колени. Чарльз бросился к ней, помог ей встать, и теперь она, как дикое животное, молча дрожала, не в силах на него взглянуть.

Бережно поддерживая ее под руку, Чарльз помог ей добраться до ровной зеленой лужайки над морем. Она была все в том же черном пальто и синем платье с белым воротничком. Однако оттого ли, что она поскользнулась, оттого ли, что он держал ее под руку, или просто от холода — не знаю, но только кожа ее покрылась ярким румянцем, который великолепно оттенял ее дикое смещение. Ветер слегка растрепал ей волосы, и она чем-то напоминала мальчишку, которого поймали, когда он рвал яблоки в чужом саду, — объятая сознанием вины, но вины мятежной. Она вдруг взглянула на Чарльза как-то сбоку и снизу большими, почти навывкате, темно-карими глазами с очень чистыми белками, и этот быстрый взгляд, одновременно робкий и суровый, заставил его отпустить ее руку.

— Страшно подумать, мисс Вудраф, что будет, если вы в один прекрасный день, гуляя в этих зарослях, повредите себе ногу.

— Это не имеет значения.

— Но это будет иметь весьма серьезное значение, сударыня. Судя по вашей давешней просьбе, вы не хотите, чтобы миссис Поултни знала о ваших прогулках. Сохрани меня Бог спрашивать вас почему. Но я должен заметить, что если с вами что-нибудь случится, я — единственный человек во всем Лайме, кто сможет сказать, где искать вас.

— Она знает. Она догадается.

— Она знает, что вы ходите сюда — в эти места?

Она смотрела на траву, словно не желая больше отвечать ни на какие вопросы и умоляя его уйти. Однако что-то в этом лице, которое Чарльз внимательно изучал в профиль, заставило его остаться. Он теперь понял, что все его черты были принесены в жертву глазам. Глаза эти не могли скрыть ум, независимость духа; в них был молчаливый отказ от всякого сочувствия, решимость оставаться самой собой. Тогда были в моде тонкие, еле заметные изогнутые брови, но у Сары брови были густые или, во всяком случае, необыкновенно темные, почти под цвет волос, и потому казались еще гуще и порой придавали всему ее облику что-то мальчишеское. Я не хочу этим сказать, что у нее было одно из тех красивых мужественных лиц с тяжелым подбородком, популярных в царствование короля Эдуарда — тип красоты девушки Гибсона. Лицо у нее было правильное и очень женственное; скрытой силе ее глаз соответствовала скрытая чувственность рта, который был довольно

велик, что опять-таки не отвечало общепринятому вкусу, колебавшемуся между хорошеньким, почти безгубым ротиком и инфантильным луком Купидона. Чарльз, подобно большинству своих современников, все еще находился под некоторым влиянием «Физиономики» Лафатера. Он обратил внимание на этот рот, и его отнюдь не ввело в заблуждение то, что он был неестественно крепко сжат.

Какие-то отголоски этот взгляд, сверкнувший из темных глаз, несомненно, в нем пробудил, но отголоски отнюдь не английские. Такие лица ассоциировались у него с иностранками, а говоря откровенно (гораздо откровеннее, чем он сказал бы самому себе) — с их постелями. Это было для него следующей ступенью к постижению Сары. Сначала он понял, что она гораздо умнее и независимее, чем кажется, теперь угадал в ней другие, более темные качества.

Истинная натура Сары оттолкнула бы большинство англичан его века; и действительно слегка оттолкнула или по крайней мере шокировала Чарльза. Он в достаточной степени разделял предрассудки своих современников и с подозрением относился к чувственности в любом ее виде; но в то время как они, следуя одной из тех страшных формул, которые диктует нам супер-эго, возложили бы на Сару какую-то долю ответственности за ее врожденные качества, он этого не сделал. За что нам следует благодарить его научные увлечения. Дарвинизм, как это поняли наиболее проникательные его противники, открыл шлюзы для чего-то гораздо более серьезного, чем подрыв библейского мифа о происхождении человека; более глубокий его смысл вел к детерминизму и бихевиоризму, то есть к философским теориям, которые сводят нравственность к лицемерию, а долг — к соломенной хижине во власти урагана. Я не хочу сказать, что Чарльз совершенно оправдывал Сару, но осуждать ее он был склонен гораздо меньше, чем ей это могло показаться.

Итак, отчасти его научные увлечения... Но Чарльз обладал еще и тем преимуществом; что он прочитал — разумеется, тайком, потому что книга эта преследовалась за непристойность — роман, опубликованный во Франции десятью годами ранее, роман по своей тенденции глубоко детерминистский — знаменитую «Госпожу Бовари». И пока он смотрел в лицо стоявшей рядом с ним женщины, в памяти его вдруг ни с того ни с сего всплыло имя Эммы Бовари. Подобные ассоциации равносильны прозрению, но также и соблазну. Вот почему дело кончилось тем, что он не поклонился и не ушел.

Наконец она заговорила.

— Я не знала, что вы здесь.

— Откуда вам было знать?

— Мне пора.

И повернулась. Но он поспешно ее остановил.

— Позвольте мне сначала вам кое-что сказать. Хотя как человек, не знакомый с вами и с обстоятельствами вашей жизни, я, возможно, не имею права это говорить.

Она стояла к нему спиной, опустив голову.

— Вы позволите мне продолжать?

Она молчала. Помедлив, он заговорил снова.

— Мисс Вудраф, я не стану делать вид, будто при мне о вас не говорила... миссис Трэнтер. Я хочу только сказать, что она говорила о вас доброжелательно и с сочувствием. Она думает, что вы не довольны своей теперешней должностью, которую, как я понял, вы заняли скорее в силу обстоятельств, нежели по личной склонности. Я лишь недавно познакомился с миссис Трэнтер. Но в числе преимуществ, которыми я обязан моей будущей женитьбе, не последнее место занимает знакомство с человеком столь бесконечной доброты. Однако перейдем к делу. Я уверен...

Чарльз прервал свою речь, заметив, что она быстро оглянулась на росшие позади них деревья. Ее слух, более тонкий, чем у него, уловил какой-то звук, треск сухой ветки под ногами. Но не успел он спросить ее, что случилось, как сам услышал негромкие мужские голоса. Сара действовала без промедления. Подобрав юбки, она быстро отошла по траве ярдов на сорок и скрылась в зарослях колючего дрока, которые возвышались над лужайкой. Чарльз стоял в замешательстве, словно невольный соучастник ее преступления.

Мужские голоса зазвучали громче. Пора что-то предпринять, решил он и двинулся к тропинке, ведущей вверх, в заросли куманики. Маневр оказался удачным, ибо глазам его одновременно открылась нижняя тропинка и два обращенных кверху лица, на которых было написано крайнее изумление. Эти двое, очевидно, намеревались свернуть туда, где он стоял. Чарльз открыл было рот, чтобы с ними поздороваться, но оба с поразительным проворством исчезли. До него донесся приглушенный крик: «Беги, Джим!» и топот бегущих ног. Затем раздался тихий призывный свист, возбужденное тявканье собаки, и все стихло.

Убедившись, что они ушли, Чарльз вернулся к дроку. Сара стояла, прижавшись к его острому иглам и отворотив от Чарльза лицо.

— Они ушли. Это, наверное, браконьеры.

Она кивнула, все еще избегая его взгляда. Дрок был усыпан пышными желтыми соцветьями, которые почти совсем закрыли зелень. В воздухе струился их пряный медовый аромат.

— Мне кажется, в этом не было необходимости, — сказал Чарльз.

— Джентльмена, который дорожит своей репутацией, не должны видеть в обществе вавилонской блудницы Лайма.

И это еще на шаг приблизило его к постижению ее натуры, потому что в голосе ее прозвучала горечь. Чарльз улыбнулся скрытому от него лицу.

— В таком случае вам следует облачиться в порфиру и багряницу, а то кроме щек я ничего багряного у вас не вижу.

В ответ она сверкнула на него таким взглядом, словно он терзал загнанного зверя. Потом снова отвернулась.

— Прошу вас, поймите меня правильно, — мягко проговорил Чарльз. — Я искренне сочувствую вам в вашем несчастном положении. Я также ценю вашу заботу о моей репутации. Но ей не может повредить мнение людей, подобных миссис Поултни.

Сара не шевельнулась. Он все еще улыбался с непринужденностью человека, который много путешествовал, много читал и повидал свет.

— Уважаемая мисс Вудраф, я многое видел на своем веку. И у меня тонкий нюх на ханжей... какими бы праведниками они ни прикидывались. Но для чего вам прятаться? В нашей случайной встрече нет ничего неприличного. И позвольте мне закончить то, что я намеревался вам сказать.

Он отступил, и она снова вышла на общипанную траву. Он заметил у нее на ресницах следы слез. Не навязывая ей своего присутствия, он остался стоять в нескольких шагах у нее за спиной.

— Миссис Трэнтер желает... будет просто счастлива помочь вам, если вы захотите переменить место.

В ответ она лишь покачала головой.

— Нет человека, которому нельзя помочь... если он внушает сочувствие другим. — Он умолк. Резкий порыв ветра подхватил прядь ее волос. Она нервно водворила ее на место. — Я говорю вам только то, что миссис Трэнтер хотела бы сказать сама.

Чарльз не преувеличивал, ибо во время веселого завтрака, последовавшего за примирением, зашла речь о миссис Поултни и Саре. Чарльз был всего лишь случайной жертвой властолюбивой старухи, и вполне естественно, что они вспомнили ту, которая была жертвой постоянной. Коль скоро он уже ворвался в такие пределы, куда менее искушенные в столичной жизни ангелы не смеют даже ступить, Чарльз решил сказать Саре, к какому заключению они в тот день пришли.

— Вам следует уехать из Лайма... из этой округи. Сколько мне известно, вы получили порядочное образование. Я уверен, что в другом месте оно найдет более достойное применение.

Сара ничего не ответила.

— Я знаю, что мисс Фримен и ее матушка охотно наведут справки в Лондоне.

Она отошла к краю уступа и долго смотрела на море; затем обернулась и взглянула на Чарльза, все еще стоявшего у зарослей дрока, взглядом странным, лучезарным и таким прямым, что он ответил ей улыбкой — одной из тех улыбок, о которых знаешь, что они неуместны, но продолжаешь улыбаться.

Она опустила глаза.

— Благодарю вас. Но я не могу отсюда уехать.

Он еле заметно пожал плечами. Он был сбит с толку и испытывал смутное чувство незаслуженной обиды.

— В таком случае мне остается еще раз просить у вас извинения за то, что я вмешался не в свое дело. Это больше не повторится.

Он поклонился и хотел уйти. Но не успел он сделать и двух шагов, как она заговорила.

— Я... я знаю, что миссис Трэнтер желает мне добра.

— В таком случае позвольте ей осуществить это желание.

Она смотрела на траву между ними.

— Когда со мной говорят так, словно... словно я совсем не та, что на самом деле... Я чрезвычайно благодарна. Но такая доброта...

— Такая доброта?

— Такая доброта для меня более жестока, чем...

Она не закончила фразу и опять отвернулась к морю. Чарльзу ужасно захотелось подойти, схватить ее за плечи и как следует тряхнуть: трагедия хороша на сцене, но в обычной жизни может показаться просто блажью. Все это, хотя и в менее резких выражениях, он ей высказал.

— То, что вы называете упрямством, — моя единственная защита.

— Мисс Вудраф, позвольте мне быть откровенным. Я слышал, что вы... что вы не совсем в здравом уме. Я думаю, что это далеко не соответствует истине. Мне кажется, что вы слишком сурово осудили себя за свое прошлое поведение. Почему, ради всего святого, вы должны вечно пребывать в одиночестве? Разве вы уже не достаточно себя наказали? Вы молоды. Вы способны заработать себе на жизнь. Сколькo мне известно, никакие семейные обязательства не привязывают вас к Дорсету.

— У меня есть обязательства.

— По отношению к этому джентльмену из Франции?

Она отвернулась, словно это была запретная тема.

— Позвольте мне договорить. Такие обстоятельства подобны ранам. Если о них не смеют упоминать, они гноятся. Если он не вернется, значит, он вас не достоин. Если он вернется, то я не могу себе представить, что, не найдя вас в Лайме, он так легко откажется от мысли узнать, где вы находитесь, и последовать туда за вами. Ведь это подсказывает простой здравый смысл.

Наступило долгое молчание. Не приближаясь к ней, он передвинулся, чтобы увидеть сбоку ее лицо. Выражение лица было странным, почти безмятежным, как будто слова его подтвердили какую-то глубоко укоренившуюся в ее душе мысль.

Она все еще смотрела на море, где, милях в пяти от берега, в полосе проглянувшего солнца шел к западу бриг под красновато-коричневыми парусами. Потом сказала спокойно, словно обращалась к этому далекому кораблю:

— Он никогда не вернется.

— Вы думаете, что он никогда не вернется?

— Я знаю, что он никогда не вернется.

— Я вас не понимаю.

Она повернулась и посмотрела в полное удивления и сочувствия лицо Чарльза. Долгое мгновение она, казалось, чуть ли не наслаждалась его замешательством. Потом опять отвела глаза.

— Я уже давно получила письмо. Этот джентльмен... — она опять замолчала, словно открыла ему слишком много и теперь об этом сожалеет. И вдруг быстрым шагом, почти бегом, двинулась по лужайке к тропе.

— Мисс Вудраф!

Она прошла еще немного, потом обернулась; и снова эти глаза одновременно его и оттолкнули, и пронзили. Глухой сдавленный голос прозвучал как выстрел, направленный, казалось, прямо в Чарльза.

— Он женат!

— Мисс Вудраф!

Но она не обернулась. Он так и остался стоять.

Удивление его было вполне естественным. Неестественным было охватившее его отчетливое чувство вины. Словно он выказал грубое равнодушие, тогда как был уверен, что сделал все, что мог. Несколько секунд после того, как она скрылась из виду, он все еще смотрел ей вслед. Потом обернулся и посмотрел на далекий бриг, словно надеялся найти в нем разгадку этой тайны. Но не нашел.

17

Вечерний гомон эспланады,
Песок, цветные паруса,
Приветственные голоса,
Улыбки, дамские наряды,

Шум моря, шутки на ходу,
Закатный свет на голых скалах,
И тот же, что во всех курзалах,
Оркестр, играющий в саду.

Все так знакомо, так не ново...
Но поздней ночью, в тишине,
Она опять явилась мне —
Печальным призраком былого.

Томас Гарди.

В курортном городке: 1869 год

В этот вечер Чарльз сидел между миссис Трэнтер и Эрнестиной в лаймском зале ассамблей. Здание лаймских ассамблей, быть может, не шло ни в какое сравнение с ассамблеями в Бате и Челтнеме, но оно было уютным, просторным, и из его окон открывался вид на море. Увы — слишком уютным и слишком любимым всеми местом, чтобы не принести его в жертву Великому Британскому Богу — Удобству, вследствие чего по постановлению городского совета, единодушно озабоченного состоянием обывательского мочевого пузыря, его давно уже снесли и тем расчистили место для постройки, которая по всей справедливости может претендовать на звание наименее удачно расположенной и наиболее уродливой общественной уборной на всех Британских островах.

Однако не следует думать, что поултинская коалиция Лайма ополчилась лишь против легкомысленной архитектуры здания. На самом деле ее возмущало то, что в нем происходило. В этом заведении процветали джентльмены с сигарами в зубах, балы, концерты и вист. Короче говоря, там поощрялись развлечения, а миссис Поултни и ей подобные отлично знали, что единственное здание, в котором добропорядочный город может позволить людям собираться, — это церковь. Когда в Лайме вырвали с корнем зал собраний, из груди города вырвали сердце, и по сей день никому еще не удалось вложить его обратно.

Чарльз и его дамы пришли в обреченное здание на концерт. Разумеется, светская музыка на этом концерте не исполнялась — был великий пост, и ничто не нарушало религиозной монотонности программы. Но даже и она шокировала наиболее узколобых жителей Лайма, которые, по крайней мере публично, соблюдали великий пост столь же неукоснительно, сколь правомерные мусульмане соблюдают рамадан. Поэтому перед окаймленным папоротниками возвышением в конце

главной залы, где давали концерты, оставалось несколько пустых кресел.

Наша высоколобая троица явилась задолго до начала, как и большая часть публики, ибо на этих концертах — в истинном духе XVIII века — все наслаждались не только музыкой, но и приятной компанией. Они предоставляли дамам великолепную возможность оценить и обсудить наряды своих ближних и, разумеется, похвастать своими собственными. Даже Эрнестина при всем своем презрении к провинции пала жертвой суетности. Здесь по крайней мере лишь немногие будут в состоянии соперничать с нею по части вкуса и роскоши ее туалетов, и взгляды, которые другие дамы украдкой бросали на ее плоскую шляпку (не напяливать же ей эти старомодные махины с перьями!) с белым бантиком в форме трилистника, на платье светло-зеленого «цвета надежды», на черную с сиреневым отливом мантилью и модные башмачки на шнурках, приятно возмещали скуку, которую ей приходилось терпеть в остальных случаях.

В этот вечер в нее вселился какой-то проказливый чертенок. Как только порог залы переступало новое лицо, Чарльзу приходилось одним ухом выслушивать комментарии миссис Трэнтер: местоположение резиденции, родственники, предки, а другим — ехидные Эрнестинины замечания *sotto voce*¹ Бульдогоподобная дама, как он узнал от тетки — некая миссис Томкинс, добрейшая душа, дом над Элм-хаусом, сын в Индии, слегка туга на ухо; тогда как голос племянницы кратко, но выразительно изрек: «Настоящая мокрая курица». Если верить Эрнестине, в зале было значительно больше мокрых куриц, чем людей, которые, коротая время в сплетнях, терпеливо и благодушно ожидали начала концерта. Каждое десятилетие изобретает такое полезное существительное с эпитетом: в шестидесятые годы прошлого века выражение «мокрая курица» означало все смертельно скучное и старомодное, сегодня Эрнестина назвала бы этих почтенных меломанов «старыми занудами»... что как нельзя более удачно характеризовало вышеупомянутую миссис Томкинс.

Но наконец появилась выдающаяся певица-сопрано из Бристоля вкупе с аккомпаниатором, еще более выдающимся синьором Риторнелло. (или что-то в этом роде, ибо если человек — пианист, он непременно итальянец), и Чарльз обрел возможность исследовать свою совесть.

Во всяком случае, он начал в духе такого исследования, как бы повинаясь велению долга, что скрывало несколько щекотливое обстоятельство, а именно — это доставляло ему также и удовольствие. По правде говоря, он никак не мог выбросить из головы ни Сару, ни ту загадку, которую она собою являла. Когда он шел на Брод-стрит с целью сопроводить дам на концерт, он — как ему казалось — был преисполнен твердого намерения сообщить им о встрече с Сарой, разумеется, при строжайшем условии, что они никому не расскажут об ее прогулках по Вэрской пустоши. Но для этого как-то не представилось подходящего случая. Сначала ему пришлось выступить в роли третейского судьи на диспуте

весьма практического свойства по поводу легкомыслия Эрнестины, нарядившейся в шелка, хотя погода еще требовала меринсовой шерсти, ибо: «Никогда не облачайся в шелка до мая месяца» — гласила одна из девятиста девяти заповедей, которые ее родители пристегнули к узаконенным Священным Писанием десяти. Чарльз отмел этот вопрос с помощью комплимента, но если имя Сары не было упомянуто, то скорее вследствие возникшего у него чувства, что в разговоре с нею он позволил себе зайти слишком далеко, а вернее, утратил всякое чувство меры. Он поступил очень глупо, позволив ложно понятому рыцарству затмить свой здравый смысл, но хуже всего, что теперь ему будет дьявольски трудно объяснить все Эрнестине.

Он прекрасно понимал, что в груди этой молодой особы дремлет скрытая до поры до времени неумная ревность. В худшем случае она сочтет его поведение непостижимым и рассердится, в лучшем... увы, этот вариант выглядел далеко не лучшим — ограничится насмешками. Однако ему не хотелось выслушивать насмешки на эту тему. Безопаснее было бы, вероятно, довериться миссис Трэнтер. Он знал, что она разделяет его добрые намерения и участие, но двоедушие было ей совершенно чуждо. Он не мог просить ее скрыть что-либо от Эрнестины, а если та узнает о его встрече от тетки, ему несдобровать.

О других своих чувствах, вызванных поведением Эрнестины в этот вечер, он не смел даже и помыслить. Нельзя сказать, чтобы ее юмор его раздражал, он скорее производил непривычное и неприятное впечатление искусственности, словно это был какой-то предмет туалета, который она надела даже не по случаю концерта, а лишь в пандан к своей французской шляпке и новой мантилье. Кроме того, юмор этот требовал от него отклика... ответной искорки в глазах, постоянной улыбки, которой он ее и одаривал, но тоже искусственно, так что их обоих, казалось, окутывало обоюдное притворство. Быть может, виной тому было уныние, навеянное столь непомерной дозой Генделя и Баха, или частые диссонансы между примадонной и ее адъютантом, но только Чарльз поймал себя на том, что он украдкой бросает взгляды на сидящую рядом с ним девушку и смотрит на нее так, словно видит впервые, словно это совсем чужой ему человек. Хорошенькая, просто очаровательная... но не выдает ли ее лицо некоторую заурядность, не застыло ли на нем раз и навсегда парадоксальное сочетание притворной скромности и непритворного равнодушия? Если отнять у нее эти два качества, что останется? Пресное себялюбие. Однако Чарльз тут же отогнал эту жестокую мысль. Разве единственная дочь богатых родителей может быть иной? Видит Бог — на фоне других молодых и богатых охотниц за мужьями в лондонском свете Эрнестина была далеко не заурядна (а в противном случае чем же еще она его покорила?). Но единственный ли это фон, единственная ли ярмарка невест? Неколебимый символ веры Чарльза заключался в том, что он не похож на огромное большинство молодых людей одинакового с ним происхождения. Именно поэтому он так много путешествовал: он находил английское

¹ Шепотом (ит.).

общество слишком ограниченным, английскую серьезность слишком серьезной, английскую мысль слишком моралистичной, английскую религию слишком ханжеской. Однако в таком важном вопросе, как выбор спутницы жизни, не пошел ли он по самому избитому пути? И вместо того, чтобы принять самое мудрое решение, не принял ли, напротив, самое что ни на есть шаблонное?

Какое же решение было бы самым мудрым? Подождать.

Под натиском этих язвительных вопросов он начал себя жалеть — эдакий светоч мысли в капкане, эдакий укрощенный Байрон, и мысли его снова обратились к Саре. Он попытался воскресить в памяти ее образ, это лицо, этот рот, этот большой выразительный рот. Лицо ее, несомненно, пробудило в нем какое-то воспоминание, быть может, слишком неуловимое, слишком общее, чтобы проследить его источник в своем прошлом, но оно не давало ему покоя и неотступно его преследовало, взывая к какому-то скрытому «я», о существовании которого он едва ли даже подозревал. Он сказал себе: глупее не придумаешь, но эта девушка чем-то меня привлекает. Ему казалось очевидным, что привлекает его не сама по себе Сара — это просто невыносимо, ведь он помолвлен, — а какое-то чувство, какая-то возможность, которую она символизирует. Она заставила его осознать, что ему чего-то не хватает. Ему всегда казалось, что его будущее таит неисчерпаемые возможности, а теперь оно вдруг превратилось в обязательную поездку в давно знакомые места. Сара напомнила ему об этом.

Локоть Эрнестины деликатно напомнил ему о настоящем. Певица жаждала аплодисментов, и Чарльз вяло внес свою лепту. Сунув руки обратно в муфту, Эрнестина насмешливо надула губы, одновременно осуждая и его рассеянность, и бездарность исполнения. Он ответил ей улыбкой. Она так молода, совсем еще дитя. На нее нельзя сердиться. Ведь она всего лишь женщина. Есть много такого, чего ей никогда не понять: как богата мужская жизнь, как неизмеримо трудно быть человеком, для которого мир нечто гораздо большее, чем наряды, дом и дети.

Все встанет на свои места, когда она будет окончательно ему принадлежать: в его постели, на текущем счету в его банке... ну и в его сердце, разумеется, тоже.

Сэм в эту минуту обдумывал нечто прямо противоположное, а именно: сколь многое доступно пониманию той разновидности племени Евы, которую избрал своей спутницей он. Сегодня нам трудно представить себе пропасть, которая в те времена разделяла парня из лондонского Сэвен-Дайелза и дочь возчика из глухой деревушки Восточного Девона. Чтобы сойтись друг с другом, им нужно было преодолеть столько препятствий, как если бы он был эскимосом, а она — зулуской. Они и говорили-то почти на разных языках — так часто один не понимал другого.

Однако это расстояние, все эти пропасти, в те времена еще не преодоленные радио, телевидением, дешевым туризмом и всем прочим, имели свои преимущества. Люди, быть может, знали друг друга меньше, зато они чувствовали себя свободнее друг от друга и потому

обладали более ярко выраженной индивидуальностью. Вселенная для них еще не возникала и не исчезала с поворотом выключателя или нажатием кнопки. Чужаки оставались чужими, но в этом таилось нечто волнующее и прекрасное. Возможно, человечество выиграло от того, что мы все больше и больше общаемся друг с другом. Но я еретик и думаю, что обособленность наших предков была подобна более широким просторам, в которых они обитали, и этому можно только позавидовать. Сейчас мир в буквальном смысле слова слишком крепко с нами связан.

В каком-нибудь третьеразрядном трактире Сэм мог притворяться (и успешно притворялся), будто знает городскую жизнь вдоль и поперек. Он люто презирал все, что не исходило из Вест-Энда, все, чему не хватало кипучей энергии этой части Лондона. Но в сущности он был совсем другим; он был робок и неуверен в себе — неуверен не в том, чем он хотел бы стать (нечто весьма далекое от его нынешнего положения), а в том, хватит ли у него способностей этого добиться.

С Мэри дело обстояло совсем наоборот. Начать с того, что Сэм просто ее ошеломил: он был во многом высшим существом, и ее насмешки над ним являли собой всего лишь средство самозащиты перед столь очевидным культурным превосходством, перед этой городской способностью наводить мосты, идти напрямик, форсировать события. Природа одарила ее основательностью, своего рода безыскусной уверенностью в себе; она знала, что в один прекрасный день станет хорошей женой и хорошей матерью, и понимала, кто чего стоит — например, ничуть не обманывалась насчет разницы между своей хозяйкой и ее племянницей. Она недаром была крестьянкой — крестьяне гораздо ближе к реальным ценностям, чем городские илоты.

Она покорила Сэма тем, что была как ясное солнышко после дешевых проституток¹ и подрабатывающих тем же ремеслом служанок, которыми до сих пор исчерпывался его сексуальный опыт. В этом смысле он (как, впрочем, и большинство кокни) был вполне уверен в себе. Голубоглазый брюнет с румянцем во всю щеку, он был строен, тонок в кости, движения его отличались ловкостью и изяществом, хотя он и имел склонность, подражая Чарльзу, чудовищно преувеличивать кое-какие повадки последнего, которые казались ему особенно джентльменскими. Женщины постоянно провожали его взглядом, но более близкое знакомство с лондонскими девицами убедило его лишь в том, что они так же циничны, как и он сам. Чем Мэри окончательно его сразила, так это своей невинностью. Он почувствовал себя мальчишкой, который пускает солнечных зайчиков и в один прекрасный день убеждается, что ослепил кого-то, кто слишком мягок для подобного обращения. Ему вдруг захотелось стать таким, каким он был в ее присутствии, и поближе узнать ее.

Это внезапное взаимное понимание снизошло на них в утро визита их хозяев к миссис Поултни. Они начали

¹ Профессиональные проститутки, или «гулящие», изображены на известной карикатуре Лича 1857 года. Две унылые женщины стоят под дождем «в какой-нибудь сотне миль от Хеймаркета». Одна из них обращается к другой: «Эй, Фанни! И давно ты тут гуляешь?» (Примеч. автора.)

обсуждать сравнительные достоинства и недостатки мистера Чарльза и миссис Трэнтер. По мнению Мэри, Сэму повезло, что он попал в услужение к такому симпатичному джентльмену. Сэм с ней не согласился и вдруг, к собственному изумлению, обнаружил, что говорит этой «простой коровнице» то, что прежде говорил лишь самому себе.

Предмет его стремлений был очень прост — он хотел торговать галантерейным товаром. Он не мог пройти мимо галантерейной лавки, чтоб не остановиться, не поглазеть на витрину и, в зависимости от обстоятельств, раскритиковать ее или одобрить. Он думал, что у него есть нюх на последнюю моду. Он бывал за границей вместе с Чарльзом, набрался там новых веяний в галантерейном деле...

Все это (и, между прочим, его неподдельное восхищение мистером Фрименом) он изложил несколько бессвязно, упомянув также об огромных препятствиях — нет денег, нет образования. Мэри скромно слушала; она поняла, что перед ней — совсем другой Сэм, и поняла также, что удостоилась чести заглянуть в его душу. Сэм подумал, что слишком много болтает. Но всякий раз, с тревогой взглядывая на Мэри в ожидании смешка, улыбки или хотя бы еле заметного признака издевки над его нелепыми претензиями, он видел в этих широко раскрытых глазах лишь робкое сочувствие и просьбу продолжать. Его слушательница почувствовала, что в ней нуждаются, а девушка, которая чувствует, что в ней нуждаются, уже на четверть влюблена.

Настала пора уходить. Ему казалось, будто он только что пришел. Он стоял, а она опять лукаво ему улыбалась. Он хотел сказать, что еще ни разу так свободно, вернее, так серьезно ни с кем о себе не говорил. Но он не находил слов.

— Ну ладно. Значит, завтра утром увидимся.

— Может, и увидимся.

— У вас, наверно, много ухажеров.

— Да нет, никто мне не нравится.

— Держу пари, кто-то есть. Говорят, что есть.

— Мало ли чего тут наболтают. Нам и смотреть-то на мужчин не дают. Какие уж там ухажеры.

Сэм вертел в руках свой котелок.

— Оно и везде так.

Молчание. Он заглянул ей в глаза:

— Ну, а я вам чем не потрафил?

— Я не говорю, что не потрафил.

Молчание. Он все еще мял в руках котелок.

— Я много девушек знаю. Всяких. А как вы, еще не видел.

— Захотите, так найдете.

— Ни разу не находил. Раньше.

Снова молчание. Она упорно смотрела не на него, а на подол своего фартука.

— Ну а Лондон посмотреть желаете?

Тут она улыбнулась и закивала — очень энергично.

— То-то. Когда они там наверху поженятся, я вам все покажу.

— Взаправду?

Тут он ей подмигнул, а она зажала рот рукой. Над розовыми щечками сверкнули голубые глаза.

— В Лондоне кругом модные девицы. Вы со мной и пройтись не захотите.

— Если вас как следует одеть — в самый раз будете.

— Все-то вы врете!

— Провалиться мне на этом месте!

Они обменялись долгим взглядом. Сэм картинно поклонился и прижал шляпу к левой стороне груди.

— A demang¹, мамзель.

— Чего?

— Это значит — завтра на Куми-стрит. По-французскому. Где ваш покорный слуга будет ждать.

Тут она отвернулась, не в силах больше на него смотреть. Он быстро подошел к ней сзади, взял ее руку и поднес к губам. Мэри отдернула руку, поглядев на нее так, словно от его губ на ней остались пятна сажи. Еще один горячий быстрый взгляд. Она закусила свои хорошенькие губки. Он снова подмигнул и удалился.

Встретились ли они на следующее утро вопреки строжайшему запрету Чарльза, мне неизвестно. Но позже, когда Чарльз выходил из дома миссис Трэнтер, он увидел Сэма, который явно с заранее обдуманном намерением ожидал кого-то, стоя на противоположной стороне улицы. Чарльз сделал жест, которым римляне даровали пощаду поверженному гладиатору, и тогда Сэм снял шляпу и еще раз благоговейно прижал ее к сердцу, словно провожая взглядом катафалк, но при этом широко осклабился.

Что и возвращает меня к тому вечеру, приблизительно неделю спустя, когда состоялся вышеупомянутый концерт, а также объясняет, почему Сэм пришел к столь отличному от своего хозяина выводу касательно женского пола, ибо он опять очутился в той же кухне. К сожалению, на этот раз при сем присутствовала дуэнья — кухарка миссис Трэнтер. Но дуэнья крепко спала, сидя в резном деревянном кресле перед открытой дверцей своей пылающей плиты. Мэри с Сэмом сидели в самом темном углу. Они не разговаривали. Да в том и не было нужды, потому что они держались за руки. Со стороны Мэри это была всего лишь самозащита: она убедилась, что только так может остановить руку, пытающуюся обнять ее за талию. Но вот почему Сэм, несмотря на это и на молчание Мэри, счел ее такой отзывчивой — тайна, которую ни одному влюбленному разъяснить не надо.

18

Можно ли удивляться тому, что люди, от которых общество привыкло отворачиваться и которым часто нет места в его сердце, порой преступают законы этого общества?

Д-р Джон Саймон. Городской медицинский отчет (1849)

Когда к ручью в полдневный зной
Я жажду утолить склонился,
Печальный призрак мне явился
И долго реял надо мной...

Томас Гарди. Канун Иванова дня

Прошло два дня, в продолжение которых молотки Чарльза празднично лежали у него в рюкзаке. Он выбросил

¹ Искаженное à demain — до завтра (фр.).

из головы мысли об ископаемых, ожидавших его на террасах, и связанные теперь с ними мысли о женщинах, уснувших на освещенных солнцем уступах. Но потом у Эрнестины разболелась голова, и он неожиданно получил в свое распоряжение целый день. Некоторое время он колебался, но так скучно, так незначительно было все, что открывалось его глазам, когда он стоял у окна своей комнаты... Белый лев с мордой голодного китайского мопса, очень живо напоминающей (как Чарльз уже однажды заметил) лицо миссис Поултни, что красовался на гостиничной вывеске, угрюмо глядел на него снизу. День был не очень солнечным, ветер — не очень сильным; купол из серых облаков — слишком высоким, чтобы опасаться дождя. Он намеревался написать несколько писем, но понял, что не расположен.

Сказать по правде, он вряд ли вообще был к чему-нибудь расположен; им ни с того ни с сего овладела нестерпимая жажда странствий, от которой он, как ему последние годы казалось, вылечился навсегда. Ему захотелось очутиться где-нибудь в Кадисе, в Неаполе, на полуострове Морея, и не ради одного только великолепия средиземноморской весны, но для того, чтобы обрести свободу, знать, что впереди — нескончаемые недели странствий, острова и горы, голубые тени неизведанного.

Полчаса спустя он уже миновал сыроварню и углубился в леса Вэрской пустоши. Но ведь он мог пойти в другую сторону? Конечно, мог. Он, однако, строго запретил себе приближаться к горной лужайке; если же он все-таки встретит мисс Вудраф, то обойдется с нею так, как ему следовало обойтись в прошлый раз — вежливо, но твердо откажется вступать с ней в разговор. К тому же она, очевидно, всегда ходит в одно и то же место. Чтобы избежать встречи с ней, надо просто держаться от него подальше.

Так он и сделал: задолго до поворота на лужайку взял на север и пошел вверх по склону, на котором раскинулась обширная ясеневая роща. Эти ясени — едва ли не самые крупные в Англии — со стволами, окутанными плющом, с мощными сучьями, на которых выросли экзотические колонии папоротника-многоножки, были поистине грандиозны. Размеры их и навели захватившего общинные владения джентльмена на мысль о древесном питомнике, и, пробираясь среди них к почти вертикальным меловым стенам, что виднелись вверху, Чарльз почувствовал себя совсем маленьким, но это показалось ему даже приятным.

Он заметно воспрял духом, в особенности когда из-под ковра пролески и аронника у него под ногами стали пробиваться напластования кремня. Почти сразу ему попался морской еж. Он был в плохом состоянии: из пяти сходящихся пунктирных линий, которые украшают хорошо сохранившийся панцирь, остался только еле заметный след. Но даже это было лучше, чем ничего, и приободрившийся Чарльз, поминутно нагибаясь, принялся за поиски.

Постепенно одолевая склон, он добрался до подножья утесов, где слой осыпавшегося кремня был толще всего и где ископаемые, вероятно, меньше подверглись разрушительному действию морской воды. Держась на этом уровне, он стал продвигаться к западу. Плющ здесь

разросся очень буйно — кое-где он сплошь покрывал отвесную стену утеса вместе с ветвями ближайших деревьев, его огромные рваные полотнища нависали у Чарльза над головой. В одном месте эти заросли образовали нечто вроде туннеля, на дальнем конце которого виднелась прогалина, а на ней — совсем недавняя кремниевая осыпь. В таком месте наверняка должны быть иглокожие, и он начал методично прочесывать участок, со всех сторон окруженный густым колючим кустарником. Он провел в этом занятии минут десять, и все это время ничто не нарушало тишины — лишь где-то на горной лужайке мычал теленок, хлопали крыльями и ворковали горлинки да снизу из-за деревьев доносился едва различимый ровный шум моря. Потом он услышал звук — будто сорвался камень. Он поднял голову, но ничего не увидел и решил, что это осыпается галька с мелового утеса. Еще минуты две он продолжал свои поиски, а затем какое-то неизъяснимое ощущение, быть может, атавизм, свойство, сохранившееся в нас со времен палеолита, подсказало ему, что он не один. Он быстро огляделся.

Она стояла наверху, у оконечности туннеля, шагах в пятидесяти от него. Он не знал, давно ли она здесь; потом вспомнил звук, который слышал минуты две назад. На мгновение он даже испугался: что-то жуткое почудилось ему в ее бесшумном появлении. Ее башмаки не были подбиты гвоздями, но все равно она, наверно, двигалась с большой осторожностью. Чтобы застать его врасплох; значит, она нарочно за ним шла.

— Мисс Вудраф! — Он приподнял шляпу. — Как вы сюда попали?

— Я увидела, как вы проходили.

Чарльз поднялся немного выше. Капор она опять держала в руке. Он заметил, что волосы у нее растрепались, словно от ветра, но никакого ветра не было. Это придавало ей какой-то дикий вид, и впечатление дикости еще больше усиливал неподвижный взгляд, который она с него не сводила. Как ему раньше не пришло в голову, что она и в самом деле слегка помешалась?

— Вы... вы имеете мне что-нибудь сказать?

В ответ — тот же неподвижный взгляд, на этот раз не сквозь него, а скорее сверху вниз. У Сары было одно из тех особенных женских лиц, чья привлекательность весьма непостоянна и зависит от неуловимого взаимодействия поворота, света, настроения. Сейчас ей придал какое-то колдовское очарование косой бледный луч солнца, прорвавшийся из узкого просвета в облаках, что нередко бывает в Англии на склоне дня. Он осветил ее лицо, всю ее фигуру на переднем плане в обрамлении зелени, и лицо это вдруг сделалось прекрасным, поистине прекрасным, пленительно-сумрачным, хотя и исполненным не только внешнего, но и внутреннего света. Точно так же, вспомнил Чарльз, одному крестьянину из Гаварни, в Пиренеях, явилась, по его словам, дева Мария, стоявшая на *déboulis*¹ при дороге. Чарльзу случилось побывать там всего несколько недель спустя.

¹ Каменная осыпь (фр.).

Его отвели на это место; ничего примечательного он там не нашел. Но если б перед ним тогда предстало подобное видение!

Однако то видение, которое предстало перед ним сейчас, явилось с более банальной миссией. Порывшись в карманах пальто, Сара протянула ему на обеих ладонях две превосходно сохранившиеся морские звезды. Он вскарабкался еще выше, чтобы их как следует рассмотреть, а затем в изумлении поднял глаза на ее серьезное лицо. Он вспомнил — в то утро у миссис Поултни он вскользь упомянул о палеонтологии и о важности иглокожих... Потом снова посмотрел на два маленьких панциря у нее в руках.

— Вы не хотите их взять?

Она была без перчаток, и пальцы их соприкоснулись. Он все еще рассматривал окаменелости, но думал только о прикосновении этих холодных пальцев.

— Чрезвычайно вам благодарен. Они в превосходном состоянии.

— Это те, что вы ищете?

— Да, именно они.

— Они раньше жили в море?

Помедлив, он выбрал из двух панцирей тот, что сохранился лучше, и показал ей ротовое отверстие, заднепроходное отверстие, дырочки для ножек. Все, что он объяснял, было выслушано с таким пристальным вниманием, что постепенно его недовольство улетучилось. Вид у этой девушки был странный, но два-три вопроса, которые она ему задала, не оставляли сомнений в полной здравости ее рассудка. Наконец он бережно убрал окаменелости в карман.

— Вы оказали мне большую любезность, потратив на их поиски столько времени.

— У меня не было другого занятия.

— Я собирался возвращаться. Позвольте проводить вас на тропинку.

Она, однако, не двинулась с места.

— Еще я хотела поблагодарить вас, мистер Смитсон, за то... за то, что вы желали мне помочь.

— От помощи вы отказались, следовательно, теперь я — ваш должник.

Наступило молчание. Выбравшись наверх, он палкой раздвинул плющ, уступая ей дорогу. Но она по-прежнему стояла лицом к прогалине.

— Я дурно сделала, что пошла за вами.

Он пожалел, что не видит ее лица.

— Я полагаю, что мне лучше уйти.

Она молчала. Чарльз пошел к зеленой стене из плюща, но не выдержал и оглянулся на нее в последний раз. Она смотрела через плечо ему вслед: словно тело возмущенно отвернулось, осуждая бесстыдство глаз, которые выражали теперь не только прежний укор, а еще и напряженную страстную мольбу. В этом полном муки взгляде Чарльз прочел возмущение: ее оскорбили, над ее слабостью низко надругались. Но глаза ее обвиняли Чарльза не в том, что он ее оскорбил, а лишь в том, что он этого не заметил. Их взгляды надолго скрестились, и когда Сара, опустив наконец голову, заговорила, на щеках ее рде́л румянец.

— У меня нет никого, к кому я могла бы обратиться.

— Мне кажется, я объяснил вам, что миссис Трэнтер...

— Сама доброта. Но я не нуждаюсь в доброте.

Молчание. Он все еще придерживал палкой плющ.

— Сколько мне известно, здешний священник — человек весьма здравомыслящий.

— Это он рекомендовал меня миссис Поултни.

Чарльз стоял возле плюща, словно в дверях. Он избегал ее взгляда и никак, никак не мог придумать, что сказать под занавес.

— Я почти за счастье поговорить с вами с миссис Трэнтер. Однако мне было бы крайне неловко...

— Входить и дальше в мои обстоятельства.

— Да, вы не ошиблись, именно это я и хотел сказать. — Получив такую отповедь, она отвернулась. Он медленно отпустил плющ, и стебли заняли первоначальное положение. — Вы по-прежнему не хотите последовать моему совету покинуть эти края?

— Я знаю, чем я стану в Лондоне. — Чарльз внутренне оцепенел. — Я стану тем, чем стали в больших городах многие обесчещенные женщины. — Она повернулась к нему и покраснела еще сильнее. — И чем меня уже многие называют в Лайме.

Однако это уж слишком, это просто верх неприличия.

— Уважаемая мисс Вудраф, — пробормотал Чарльз. Щеки его теперь тоже залились густой краской.

— Я слаба. Мне ли этого не знать? — сказала она и с горечью добавила: — Я согрешила.

Это новое признание совершенно чужому человеку, да еще при таких обстоятельствах вытеснило добрые чувства к Саре, которые вызвало у Чарльза внимание к его краткой лекции об ископаемых иглокожих. Однако у него в кармане лежали два панциря — чем-то он был ей все же обязан, и та часть его души, существование которой он скрывал от самого себя, была в какой-то мере польщена — так бывает польщен священник, к которому обратились за советом в минуту духовного сомнения.

Он опустил глаза на железную ферулу своей палки.

— И этот страх удерживает вас в Лайме?

— Отчасти.

— А то, что вы рассказали мне в прошлый раз перед уходом, — об этом еще кто-нибудь знает?

— Если б они знали, то не упустили бы возможности мне сказать.

Опять наступило молчание, на этот раз более долгое. Бывают в человеческих отношениях минуты, напоминающие переход из одной тональности в другую, когда то, что прежде воспринималось нами как объективная реальность, которой наш разум дает определение, быть может, не облеченное в ясную форму, но которую достаточно отнести к какой-нибудь общей категории (человек, страдающий алкоголизмом, женщина с сомнительным прошлым и т. д.), внезапно становится нашим неповторимым субъективным переживанием, а не просто предметом наблюдения. Именно такая метаморфоза и произошла в сознании Чарльза, когда он смотрел на склоненную голову стоявшей перед ним грешницы. И как большинство из нас, кому случалось пережить подобную минуту — а кто не попадал в объятия пьяного? — он

поспешно, хотя и дипломатично попытался восстановить status quo¹

— Я вам безгранично сочувствую. Но, признаться, не понимаю, почему вы хотите сделать меня... так сказать... своим наперсником.

И — как будто она ждала этого вопроса — она начала говорить торопливо, словно повторяя заученную речь или молитву.

— Потому что вы повидали свет. Потому что вы образованный человек. Потому что вы джентльмен... Потому что... я сама не знаю почему. Я живу среди людей, про которых все говорят: они добры, благочестивы, они истинные христиане. А для меня они грубее всякого варвара, глупее всякого животного. Я не верю, что так должно быть. Что в жизни нет понимания и жалости. Нет великодушных людей, которые могут понять, как я страдала и почему страдаю... и что как бы тяжело я ни согрешила, я не заслуживаю таких страданий. — Она остановилась. Чарльз молчал, застигнутый врасплох этим доказательством ее незаурядности, о которой он лишь подозревал, способностью так связно выражать свои чувства. Она отвернулась и продолжала более спокойным голосом. — Если я и бываю счастлива, то лишь во сне. Стоит мне проснуться, как начинается кошмар. Меня словно бросили на необитаемом острове, приговорили, осудили, а за какое преступление, я не знаю.

Чарльз в смятении глядел на ее спину; он чувствовал себя как человек, которого вот-вот поглотит лавина, а он пытается бежать, пытается крикнуть — и не может. Внезапно глаза их встретились.

— Почему я родилась такой? Почему я не мисс Фримен?

Но не успела она произнести это имя, как снова отвернулась, поняв, что зашла чересчур далеко.

— Последний вопрос кажется мне излишним.

— Я не хотела...

— Вполне понятно, что вы завидуете...

— Я не завидую. Я просто не понимаю.

— Не только я — люди во сто раз умнее меня бессильны вам здесь помочь.

— Этому я не верю и не поверю ни за что.

Случалось и раньше, что женщины — нередко сама Эрнестина — шутливо противоречили Чарльзу. Но только в шутку. Женщина не оспаривает мнения мужчины, если он говорит серьезно, а если и вступает с ним в спор, то крайне осторожно. Сара же как будто претендовала на интеллектуальное с ним равенство, причем именно тогда, когда ей, казалось бы, следовало держаться особенно почтительно, если она хотела добиться своего. Он был возмущен, он... у него просто не было слов. С логической точки зрения, ему оставалось лишь отвесить холодный поклон и удалиться, топая своими тяжелыми башмаками на гвоздях. Но он не двигался; он словно прирос к месту. Возможно, у него раз и навсегда сложилось представление о том, как выглядит сирена: распущенные длинные волосы, целомудренная мраморная нагота, русалочий хвост — под стать Одиссею с внешностью завсегда одного из лучших клубов. На

¹ Существующее положение (лат.).

террасах не было греческих храмов, но перед ним была Калипсо.

— Я вас обидела, — тихо произнесла она.

— Вы привели меня в недоумение, мисс Вудраф. Я не вижу, чего вы можете ожидать от меня после того, что я уже предложил для вас сделать. Но вы, несомненно, должны понять, что дальнейшее сближение между нами — при всей его невинности — ввиду моих нынешних обстоятельств совершенно невозможно.

Наступило молчание. Скрытый в густой зелени дятел отрывисто захихикал, глядя на этих замерших внизу двуногих.

— Разве я стала бы... домогаться таким образом вашего сочувствия, не будь я в отчаянном положении?

— Я не сомневаюсь, что вы в отчаянии. Но согласитесь, что вы требуете невозможного. И я по-прежнему не понимаю, чего вы от меня хотите.

— Я бы хотела рассказать вам о том, что случилось полтора года назад.

Молчание. Она взглянула на него, желая узнать, какое действие произвели ее слова. Чарльз снова застыл. Невидимые узы спали, и в нем восторжествовал викторианец, преданный условностям. Он выпрямился, он был в высшей степени шокирован, он решительно осуждал столь неприличные поступки; однако взгляд его искал чего-то в ее взгляде... объяснения, причины... ему казалось, что она вот-вот заговорит, и он уже готов был скрыться в зарослях плюща, не проронив более ни звука. Но словно угадав его намерения, она предупредила их самым неожиданным образом. Она опустила перед ним на колени.

Ужас охватил Чарльза; он представил себе, что может подумать тот, кому случилось бы наблюдать эту сцену. Он отступил на шаг, словно желая остаться незамеченным. Как ни странно, она казалась спокойной. Ее поступок не был выходкой истерички. Только глаза выдавали напряженное чувство — чуждые солнцу, навек залитые лунным светом глаза.

— Мисс Вудраф!

— Умоляю вас. Я еще не потеряла рассудка. Но я его потеряю, если мне никто не поможет.

— Возьмите себя в руки. Если нас кто-нибудь увидит...

— Вы моя последняя надежда. Вы не жестоки, я знаю, что вы не жестоки.

Чарльз посмотрел на нее, в отчаянии огляделся по сторонам, потом подошел, заставил подняться и, придерживая под локоть негнувшейся рукой, отвел под укрытие плюща. Она стояла перед ним, закрыв лицо руками. Наступило одно из тех мучительных мгновений, когда человеческий разум внезапно подвергается жестокой атаке сердца, и Чарльз с трудом удержался от того, чтобы не прикоснуться к Саре.

— Поверьте, что ваши страдания не оставляют меня равнодушным. Но вы должны понять, что я... я не могу ничего сделать.

Она торопливо заговорила, понизив голос:

— Я прошу вас только об одном — придите сюда еще раз. Я буду ожидать здесь каждый день. Никто нас не увидит. — И, не обращая внимания на его попытки разубедить ее, продолжала: — Вы добры, вы понимаете

то, чего здесь, в Лайме, никому не понять. Позвольте мне договорить. Два дня назад я едва не поддалась безумию. Я чувствовала, что мне необходимо вас видеть, говорить с вами. Я знаю, где вы остановились. Еще немного, и я бы пошла туда и спросила вас... К счастью, последние остатки разума удержали меня у порога.

— Но это непростительно. Если я не ошибаюсь, вы угрожаете мне скандалом.

Она изо всех сил замотала головой.

— Я скорее умру, чем дам вам повод так обо мне думать. Это совсем не то. Я не знаю, как это выразить. Отчаяние внушает мне ужасные мысли. Я начинаю страшиться самое себя. Я не знаю, что мне делать, куда пойти, у меня нет никого, кто бы... умоляю вас... неужели вы не можете понять?

Чарльз думал только об одном — как поскорее выбраться из этой чудовищной переделки, уйти от этих беспощадно откровенных, этих обнаженных глаз.

— Я должен идти. Меня ожидают на Брод-стрит.

— Но вы еще придете?

— Я не могу, я...

— Я гуляю здесь каждый понедельник, среду и пятницу. Если у меня нет других обязанностей.

— Но то, что вы предлагаете... Я настаиваю, чтобы миссис Трэнтер...

— Я не смогу сказать правду в присутствии миссис Трэнтер.

— Тогда она навряд ли предназначена для ушей человека совершенно постороннего... и к тому же другого пола.

— Совершенно посторонний человек... и к тому же другого пола... часто бывает самым непредвзятым судьей.

— Я хотел бы истолковать ваше поведение в благоприятном свете, но вынужден повторить, что крайне удивлен тем, как вы...

Но она по-прежнему не сводила с него взгляда, и он не смог закончить свою мысль. Вы уже, наверное, заметили, что у Чарльза не было одного языка для всех. Чарльз с Сэмом поутру, Чарльз с Эрнестиной за веселым обедом и теперь Чарльз в роли Растревоженной Благопристойности — едва ли не три разных человека, а в дальнейшем появятся еще и другие. С точки зрения биологии, мы можем объяснить это дарвиновским термином «защитная окраска» — способность выжить, научившись сливаться с окружающей средой, безоговорочно принимать законы своего века или касты. Однако этому спасительному бегству в лоно условностей можно дать и социологическое объяснение. Человек, которого подстерегало столько опасностей — всепроникающий экономический гнет, страх перед сексуальностью, поток механистической науки, — неизбежно вынужден был закрывать глаза на свою нелепую скованность. Лишь немногие викторианцы решались подвергнуть сомнению достоинства такой защитной окраски, но именно это выражал сейчас взгляд Сары. За этим взглядом, прямым, хотя и робким, скрывались вполне современные слова: «А ну-ка, Чарльз, выкладывай все как есть!» Взгляд этот выбивал почву из-под ног того, к кому был обращен. Эрнестина и женщины ей подобные всегда держались так, словно были одеты в стекло, — они являли собою

нечто бесконечно хрупкое, даже когда запускали в вас томиком стихов. Они поощряли личину, безопасное расстояние, а эта девушка, на вид само смирение, все это отвергала. Пришел его черед смотреть в землю.

— Я отниму у вас не больше часа.

Он понял, что окаменелости ему подарили неспроста — едва ли на их поиски ушел всего один лишь час.

— Если я соглашусь, хотя и с величайшей неохотой...

Она угадала его мысль и подхватила, понизив голос:

— Вы окажете мне такую услугу, что я последую вашему совету, каков бы он ни был.

— Он будет, безусловно, состоять в том, что мы ни в коем случае не должны больше рисковать...

Пока он подыскивал подходящую условную формулу, Сара вновь воспользовалась паузой.

— Это мне понятно. Равно как и то, что у вас есть более важные обязательства.

Выглянувшее ненадолго солнце теперь окончательно скрылось. Стало по-вечернему прохладно. У Чарльза было такое чувство, словно он шел дорогой, ведущей по равнине, и вдруг очутился на краю пропасти. Он понял это, глядя на склоненную голову Сары. Он не мог бы объяснить, что завлекло его сюда, почему он неправильно прочел карту, но чувствовал, что поддался соблазну и сбился с пути. И тем не менее готов был совершить еще одну глупость.

Она сказала:

— Я не нахожу слов, чтобы благодарить вас. Я буду здесь в те дни, что я назвала. — И, словно эта прогалина была ее гостиной, добавила: — Не смею вас больше задерживать.

Чарльз поклонился, помешкал, бросил на нее последний неуверенный взгляд и отвернулся. Через минуту он уже продирался сквозь дальние заросли плюща, затем, не разбирая дороги, пустился вниз по склону; гораздо больше напоминая испуганного самца косули, нежели умудренного опытом английского джентльмена.

Он выбрался на главную тропу, пересекающую террасы, и зашагал обратно в Лайм. Раздался первый крик совы; но Чарльзу этот день казался на редкость лишенным мудрости. Надо было выказать твердость: сразу же уйти; вернуть ей панцири; предложить, нет — приказать ей найти другой выход из своего отчаянного положения. Он чувствовал, что его перехитрили; он даже решил остановиться и дожидаться ее. А между тем ноги все быстрее уносили его прочь.

Он видел, что готов вторгнуться в область недозволенного, вернее, что недозволенное готово вторгнуться в его жизнь. Чем больше он удалялся от Сары во времени и пространстве, тем яснее сознавал всю несуразность своего поведения. В ее присутствии он как бы ослеп, увидел в ней совсем не то, чем она на самом деле была: женщиной, вне всякого сомнения, опасной, которая — быть может, бессознательно, но совершенно очевидно — испытывала жестокую эмоциональную неудовлетворенность и социальное возмущение.

Однако на сей раз он даже не раздумывал, следует ли ему рассказать все Эрнестине, — он знал, что не расскажет. Ему было так стыдно, как если бы он тайком от нее шагнул с Кобба на корабль, отплывающий в Китай.

Так как рождается гораздо более особей каждого вида, чем сколько их может выжить, и так как, следовательно, постоянно возникает борьба за существование, то из этого вытекает, что всякое существо, которое в сложных и нередко меняющихся условиях его жизни хотя бы незначительно изменится в направлении для него выгодном, будет иметь более шансов выжить и таким образом подвергнется естественному отбору.

Ч. Дарвин. Происхождение видов (1859)

В действительности, однако, жертва, направлявшаяся в Китай, собиралась в тот вечер вместе с Эрнестиной сделать сюрприз тетушке Трэнтер. Обе дамы должны были отобедать у него в «Белом Льве». Было приготовлено блюдо из сочных, первых в этом сезоне, омаров, отварен лосось, приплывший из моря на нерест, перерыты гостиничные погреба, а доктора, которого мы уже мельком видели у миссис Поултни, завербовали для восполнения недостающего числа лиц мужского пола.

Будучи местной знаменитостью, он считался такой же богатой добычей в лаймской реке супружества, как лосось (которого ему тем вечером предстояло отведать) в реке Экс. Эрнестина безжалостно дразнила им тетку, обвиняя это на редкость кроткое существо в бессердечной жестокости к несчастному одинокому человеку, который всю жизнь тоскует, тщетно домогаясь ее руки и сердца. Однако герой этой драмы благополучно прожил одиноким и несчастным с лишком шестьдесят лет, и потому в его тоске позволительно усомниться так же, как и в ее бессердечной жестокости.

Дело в том, что доктор Гроган был такой же закоренелый старый холостяк, как миссис Трэнтер — старая дева. Этот ирландец в полной мере обладал присущей его племени (и скопцам) удивительной способностью порхать, распускать хвост и расточать комплименты женщинам, не позволяя ни одной из них завладеть его сердцем. Маленький, сухощавый, вылитый кобчик, он бывал резок, порою даже свиреп, но в подходящей компании легко смягчался и придавал приятную терпкость лаймскому обществу. Казалось, он все время кружит над вами, готовый камнем упасть на любую глупость, но если вы ему понравились, сыпал остротами и излучал доброжелательность как человек, который жил и научился по-своему давать жить другим. У него была слегка подмоченная репутация — по происхождению католик, он, выражаясь современным языком, отчасти напоминал человека, который в 1930-е годы состоял в компартии, и хотя теперь принят в порядочном обществе, все еще несет на себе клеймо дьявола. Никто не сомневался — в противном случае миссис Поултни никогда не допустила бы его до своей особы — что ныне доктор (подобно Дизраэли) — достойный член англиканской церкви. Да и могло ли быть иначе — ведь он (в отличие от Дизраэли) исправно посещал по воскресеньям утреннюю службу. А что человек может быть настолько равнодушен к религии, что готов ходить и в мечеть, и в синагогу, лишь бы туда, ходили молиться все, — было выше разумения местных обывателей. К тому же он был прекрасный врач, глубоко сведущий в самой важной отрасли медицины — психологии пациентов. Он держал в страхе Божиим тех, кто

втайне этого желал, и — по мере надобности — мог с таким же успехом поддразнить, утешить или закрыть на многое глаза.

В Лайме вряд ли нашелся бы больший охотник хорошо поесть и выпить, а так как обед, которым его угостили Чарльз с «Белым Львом», пришелся ему по вкусу, он незаметно взял на себя роль хозяина. Он учился в Гейдельберге, практиковал в Лондоне, знал свет и все его дурачества, как может знать их только умный ирландец, — иными словами, когда память и опыт его подводили, воображение тотчас восполняло пробел. Никто не верил всем его рассказам, но никто не слушал их от этого с меньшим удовольствием. Миссис Трэнтер, вероятно, знала их не хуже остальных — ведь они с доктором были старые друзья, и ей наверняка было известно, насколько каждая новая версия отличается от предыдущей; тем не менее она смеялась больше всех, а порою так неудержимо, что я даже боюсь себе представить, что было бы, случись столпу общества повыше, на холме, это услышать.

В другое время такой вечер доставил бы Чарльзу удовольствие — в значительной степени благодаря маленьким вольностям языка и сюжетов, которые позволил себе доктор Гроган в своих рассказах, особенно когда от жирного лосося остался один лишь препарированный скелет и мужчины перешли к графину портвейна — вольностям, считавшимся не совсем *comme il faut*¹ в том обществе, украшением коего учили быть Эрнестину. Раз или два Чарльз заметил, что она слегка шокирована — чего отнюдь нельзя было сказать о тетушке Трэнтер, и его охватила тоска по более свободным нравам, которые господствовали во времена юности двоих его старших гостей и к которым они все еще с удовольствием возвращались. При виде озорных искорок в глазах доктора и неумеренного веселья миссис Трэнтер его начало тошнить от его собственной эпохи с ее удушливой благопристойностью, с ее поклонением машине — и не только машине как таковой в промышленности и транспорте, но и гораздо более страшной машине, в которую уже начали вырождаться общественные условности.

Столь похвальная беспристрастность, как может показаться, едва ли согласовывалась с его собственным поведением в более ранние часы того же дня. Чарльз так прямо не ставил этого себе в упрек, но и не остался совершенно слеп к своей непоследовательности. Круто изменив теперь свой курс, он сказал себе, что принял мисс Вудраф слишком уж всерьез, что, если можно так выразиться, рассматривал ее скорее в микроскоп, чем в телескоп. Он был особенно внимателен к Эрнестине — она успела оправиться от своего недомогания, но казалась менее оживленной, чем обычно, хотя трудно сказать, было ли то следствием мигрени или же буйного ирландского хоровода анекдотов доктора. И однако вновь, как давеча на концерте, Чарльза кольнула мысль, что есть в ней что-то плоское, что остроумие ее отнюдь не происходит, как следует в буквальном смысле слова, из остроты ума. Не похожа ли эта девица с ее притворно скромной и многозначительной миной на некий автомат, на хитроумную заводную куклу из сказок Гофмана?

¹ Приличный (фр.).

Но потом он подумал: она ведь дитя среди троих взрослых, и нежно пожал ей руку под столом красного дерева. Она вспыхнула и была в эту минуту очаровательна.

Два наши джентльмена — рослый Чарльз, который отдаленно напоминал покойного принца-консорта, и худощавый маленький доктор — проводили наконец дам обратно домой. Была половина одиннадцатого — час, когда светская жизнь в Лондоне только начиналась, но здесь город давно уже погрузился в привычный долгий сон. И когда за дамами закрылась дверь, все еще улыбавшиеся джентльмены увидели, что кроме них на Брод-стрит нет ни живой души.

Доктор потер кончик носа.

— А вам, сэръ, я прописал бы сейчас хороший стакан пунша, приготовленный моею ученой рукой. — Чарльз хотел было вежливо отказаться, но Гроган продолжал: — Предписание врача. *Dulce est desipere*, как сказал поэт. Сладко выпить в приятной компании¹.

Чарльз улыбнулся:

— Если грог будет лучше, чем латынь, тогда — с величайшим удовольствием.

Итак, минут через десять Чарльз уютно расположился в «каюте», как доктор Гроган называл свой кабинет на третьем этаже с фонарем, выходящим на маленький залив между Воротами Кобб и самим Коббом. Вид из этой комнаты, сказал ему ирландец, особенно восхитителен летом, благодаря приезжающим на морские купанья нереидам. Может ли врач найти лучший способ соединения приятного с полезным, чем прописывать своим пациенткам то, что так ласкает его взор? На столике в фонаре стоял изящный маленький медный телескоп Грегори. Доктор лукаво щелкнул языком и подмигнул.

— Разумеется, исключительно для астрономических наблюдений.

Чарльз высунулся из окна и вдохнул соленый воздух; на берегу справа чернели прямоугольные квадратные силуэты передвижных купален, откуда являлись нереиды. Но единственную музыкой, которая донеслась до него из ночной тиши, был шорох волн, набегавших на прибрежную гальку, да хриплые крики чаек, что заночевали на далекой глади моря. Позади, в освещенной лампой комнате, что-то тихонько позвякивало — это доктор готовил свое «лекарство». Чарльзу казалось, будто он висит между двумя мирами — между уютной теплой цивилизацией у него за спиной и холодной черной тайной за окном. Мы все пишем стихи; поэты отличаются от остальных лишь тем, что пишут их словами.

Грог удался на славу, его дополнила приятная неожиданность в виде бирманской сигары; к тому же оба наших героя жили еще в таком мире, где у людей разных профессий было общее поле знаний, общий запас информации, известный набор правил и закрепленных значений. Какой врач сегодня знает классиков? Какой дилетант может свободно беседовать с ученым? Их мир еще не был подавлен тиранией специализации, и я (равно как и доктор Гроган, в чем вы не замедлите

убедиться) не хотел бы, чтобы вы путали прогресс со счастьем.

Некоторое время оба молчали, с наслаждением погружаясь обратно в тот мужской, более серьезный мир, который дамы и званый обед заставили их покинуть. Чарльзу любопытно было узнать, каких политических взглядов придерживается доктор, и, чтобы подойти к этой теме, он спросил, чьи бюсты белеют на полках среди книг хозяина.

— *Quisque suos patimur manes*. Это цитата из Вергилия, и означает она примерно следующее: «Выбирая богов, мы выбираем свою судьбу», — с улыбкой заметил доктор.

Чарльз улыбнулся ему в ответ.

— Мне кажется, я узнаю Бентама.

— Совершенно верно. А другая глыба паросского мрамора — это Вольтер.

— Из чего я заключаю, что мы сторонники одной партии.

Доктор усмехнулся.

— Разве у ирландца есть другой выбор?

Чарльз жестом подтвердил, что нет, а затем попытался объяснить, почему сам он тоже либерал.

— Мне кажется, Гладстон по крайней мере признает, что моральные устои нашего времени насквозь прогнили.

— Помилуй Бог, уж не социалиста ли я перед собою вижу?

— Пока еще нет, — засмеялся Чарльз.

— Предупреждаю вас — в этот век ханжества и пара я могу простить человеку все, кроме «живой веры».

— Разумеется, разумеется.

— В молодости я был последователем Бентама. Вольтер прогнал меня из лона римской церкви, а Бентам — из лагеря тори. Но вся эта нынешняя болтовня насчет расширения избирательного права... нет, это не по мне. Я гроша ломаного не дам за происхождение. Какой-нибудь герцог или — да простит меня господь — сам король — может быть так же глуп, как первый встречный. Но я благодарен матери-природе за то, что через пятьдесят лет меня не будет в живых. Когда правительство начинает бояться толпы, это значит, что оно боится самого себя. — Доктор весело сверкнул глазами. — Знаете, что сказал мой соотечественник чартисту, который явился в Дублин проповедовать свое кредо? «Братья! — воскликнул чартист. — Разве вы не согласны, что один человек ничем не хуже другого?» «Ей-ей, ваша правда, господин оратор, — кричит ему в ответ Падди. — И даже лучше, черт побери!» — Чарльз улыбнулся, но доктор предостерегающе поднял палец. — Вы улыбаетесь, Смитсон, но заметьте: Падди-то был прав. Это не просто ирландская прибаутка. Это «и даже лучше» в конце концов погубит наше государство. Помните мое слово.

— А ваши домашние боги — разве за ними нет никакой вины? Кто проповедовал наибольшее счастье наибольшего числа?

— Я отвергаю не самый этот афоризм, а лишь способ его применения. В дни моей молодости прекрасно жили без Великого носителя цивилизации (доктор имел в виду железные дороги). Вы не принесете счастья большин-

¹ Доктор шутливо перефразирует и сокращает латинский стих: «Сладко подурачиться при случае».

ству людей, заставив их бегать прежде, чем они научатся ходить.

Чарльз вежливо пробормотал нечто, долженствующее означать согласие. На то же больное место он наткнулся у своего дяди — человека совсем других политических взглядов. Многие из тех, кто боролся за первый Билль о реформе в 1830-е годы, три десятилетия спустя боролись против второго Билля. Они чувствовали, что их век поражен двуличием и оппортунизмом, которые пробудили опасный дух зависти и смуты. Быть может, доктор, родившийся в 1801 году, был в сущности обломком августинианского гуманизма, и для него понятие прогресса было слишком тесно связано с понятием упорядоченного общества — если понимать под порядком то, что позволяло ему всегда оставаться самим собой, то есть человеком, который гораздо ближе к потенциальному либералу Бёрку, нежели к потенциальному фашисту Бентаму. Однако нельзя сказать, что его поколение было совсем уж не право в своих подозрениях насчет Новой Британии и ее государственных деятелей, выдвинувшихся во время продолжительного экономического бума после 1850 года. Многие более молодые люди — и такие незаметные, как Чарльз, и такие прославленные, как Мэтью Арнольд, — разделяли эти подозрения. Разве позже не ходили слухи, что якобы обращенный в истинную веру Дизраэли бормотал на смертном одре древнееврейские слова заупокойной молитвы? И разве под мантией благородного оратора Гладстона не скрывался величайший в современной политической истории мастер двусмысленных заявлений и смелых призывов, выродившихся в трусость? Когда невозможно понять тех, кто занимает наивысшие посты, что говорить о низших... но пора переменить тему. Чарльз спросил доктора, интересуется ли тот палеонтологией.

— Нет, сэр, честно вам признаюсь. Мне не хотелось портить такой замечательный обед. Но я убежденный неонтолог. — Он улыбнулся Чарльзу из глубины своего необъятного кресла. — Когда мы будем больше знать о живых, настанет время гоняться за мертвецами.

Чарльз проглотил упрек и воспользовался представившейся возможностью.

— На днях я познакомился с таким образчиком местной флоры, что готов отчасти с вами согласиться. — Он нарочно умолк. — Очень странный случай. Вам, без сомнения, известно о нем больше, чем мне. — Почувствовав, что столь замысловатое вступление может навести на мысль о чем-то большем, нежели случайный интерес, он торопливо закончил: — Ее фамилия, кажется, Вудраф¹. Она служит у миссис Поултни.

Доктор смотрел на серебряный подстаканник, в котором он держал свой стакан с грогом.

— А-а, вот оно что. Несчастливая Трагедия.

— Быть может, это профессиональная тайна? Она ваша пациентка?

— Я пользую миссис Поултни, но я не позволю никому дурно отзываться о ней.

Чарльз украдкой на него взглянул. Сомнений быть не могло — в глазах доктора, спрятанных за квадратными стеклами очков, блеснул свирепый огонек. Едва заметно улыбнувшись, гость опустил глаза.

Гроган наклонился и помешал огонь.

— Мы знаем больше об этих ваших окаменелостях на побережье, чем о том, что происходит в уме этой девицы. Недавно один толковый немецкий врач поделил меланхолию на несколько классов. Первый он называет природной меланхолией. Имеется в виду, что человек просто рожден с меланхолическим темпераментом. Другой класс он называет случайной меланхолией, вызванной каким-то случаем. Ею, как вы знаете, временами страдаем мы все. Третий он называет скрытой меланхолией. Этим он, бедняга, на самом деле хочет сказать, что понятия не имеет, какой дьявол ее вызывает.

— Но ведь болезнь мисс Вудраф вызвана именно таким случаем.

— Полноте, неужели она первая молодая женщина, которую соблазнили и бросили? Да я вам назову с десятков других здесь, в Лайме.

— При таких же чудовищных обстоятельствах?

— Иногда при более чудовищных. А сейчас все они веселы, как пташки.

— Значит, вы зачисляете мисс Вудраф в разряд скрытых меланхоликов?

Доктор помолчал.

— Однажды меня пригласили... вы, конечно, понимаете, что все это под строжайшим секретом... пригласили к ней около года назад. Я сразу понял, в чем дело, — плачет без причины, ни с кем не разговаривает, особенное выражение глаз. Классические симптомы меланхолии. Я знал ее историю. И Тальботов я тоже знаю — когда это случилось, она была у них гувернанткой. Ну, думаю, причина ясна — не то что шести недель, шести дней под крышей Мальборо-хауса достаточно, чтобы любого нормального человека довести до безумия. Между нами, Смитсон, я, старый язычник, был бы рад-радехонек, если бы эта цитадель благочестия сгорела до основания — и хозяйка вместе с ней. И будь я проклят, если не спляшу джигу на пепелище.

— Пожалуй, я бы охотно к вам присоединился.

— Не вы один, клянусь небом. — Доктор отхлебнул грога. — Весь город бы сбежался. Однако это пустая болтовня. Я сделал для этой девушки все, что только мог. Но я сразу понял, что излечить ее можно лишь одним способом.

— Убрать ее отсюда.

Доктор энергично кивнул.

— Две недели спустя эта красotka идет по направлению к Коббу, а тут, как нарочно, Гроган возвращается домой. Я веду ее к себе. Я с ней беседую. Я ласков с ней так, как будто она моя любимая племянница. Но она закусила удила и ни с места. И не то чтоб я ограничился одними разговорами. В Эксетере практикует мой коллега. Прекрасный человек, очаровательная жена, четверо детишек — сущие ангелочки, и он как раз ищет гувернантку. Я все это ей говорю.

— И она не поддается?

— Ни на йоту. Вы только послушайте. Миссис Тальбот кротка, как голубица. Она первым делом

¹ Woodruff (англ.) — ясменник пахучий, травянистое растение, встречающееся в окрестностях Лайм-Риджиса.

предлагает девушке вернуться. Так нет же — она поступает в дом, про который всем известно, что это юдоль скорби, к хозяйке, для которой нет разницы между слугою и рабом, на должность ничем не лучше подушки, набитой колючками утесника. Сидит там — и все. Вы не поверите, Смитсон, но предложите вы этой девушке английский трон, и я ставлю тысячу фунтов против пенни, что она и ухом не поведет.

Но... но это непостижимо. Судя по вашим словам, она отказалась именно от того, что собирались предложить ей мы. Мать Эрнестины...

— Зря потратит время, друг мой, при всем моем уважении к этой даме. — Мрачно улыбнувшись Чарльзу, он наполнил оба стакана грогом из ведерка, стоявшего на выступе в камине. — Достопочтенный доктор Хартман описывает весьма сходные случаи. Один из них заслуживает особого внимания. Это история молодой вдовы, если я не ошибаюсь, из Веймара. Муж, кавалерийский офицер, стал жертвой несчастного случая во время военных учений. Некоторое сходство, как видите, есть. Жена пребывает в глубоком трауре. Как и следовало ожидать. А дальше, Смитсон, это продолжается в том же духе год за годом. В доме запрещается что-либо менять. Одежда покойного висит в его шкафу, трубка лежит рядом с его любимым креслом, даже письма, которые пришли ему после смерти, лежат все там же... — доктор указал куда-то в сумрак за спиной Чарльза, — на том же серебряном подносе, нераспечатанные, пожелтевшие, год за годом. — Он умолк и улынулся: — Ваши аммониты не хранят подобных тайн. Но послушайте, что пишет о них доктор Хартман. — Он остановился перед Чарльзом и указательным пальцем как бы направил свои слова прямо в него. — Судя по всему, эта женщина пристрастилась к своей меланхолии, как морфинист к морфию. Теперь вы видите, как обстоит дело? Ее скорбь становится ее счастьем. Она хочет быть жертвой, влекомой на заклятие. Там, где мы с вами отпрянули бы назад, она летит вперед. Она одержима. — Он снова уселся. — Темный случай. Чрезвычайно темный случай.

Некоторое время оба молчали. Чарльз бросил в камин окурки сигары, который на мгновение занялся ярким пламенем. Задавая следующий вопрос, он не нашел в себе сил посмотреть доктору в глаза.

— И она никому не открыла, что происходит у нее в душе?

— Ее ближайшая подруга, конечно, миссис Тальбот. Но она мне сказала, что девушка ничего не открывает даже ей. Я льстил себя надеждой... но потерпел фиаско.

— Что если... если она откроет свои чувства какому-нибудь доброжелателю...

— Тогда она исцелится. Но она не желает исцеляться. Она подобна больному, который отказывается принимать лекарство.

— Но в таком случае вы, я полагаю...

— Как можно принудить к чему-нибудь человеческую душу, молодой человек? Вы можете сказать мне как? — Чарльз беспомощно пожал плечами. — Не можете. Так послушайте, что скажу вам я. Лучше оставить все, как есть. Понимание никогда не проистекало из насилия.

— Значит, это безнадежный случай?

— В том смысле, какой вы имеете в виду, — безусловно. Медицина тут бессильна. Не думайте, что она, подобно нам, мужчинам, способна здраво рассуждать, анализировать свои побуждения, сознавать, почему она поступает именно так, а не иначе. Ее следует рассматривать как человека, блуждающего в тумане. Все, что нам остается, — это ждать и не терять надежды, что туман рассеется. И тогда, быть может... — Он умолк. Потом безнадежно добавил: — Быть может.

В эту самую минуту спальня Сары погружена в глухую тьму, которая окутывает весь Мальборо-хаус. Она спит на правом боку, темные волосы рассыпались по лицу и почти совсем его закрыли. И мы снова видим совершенно спокойные черты, в которых нет ничего трагического: здоровая молодая женщина лет двадцати шести — двадцати семи спит, выпростав из-под одеяла тонкую округлую руку, ибо ночь тиха, а окна закрыты... рука откинута и покоится на теле другого человека.

Не мужчины. Девушка лет девятнадцати, тоже спящая, лежит спиной к Саре, но почти вплотную к ней, потому что кровать, хотя и широкая, все же не рассчитана на двоих.

Я знаю, что за мысль у вас промелькнула; но не забывайте, что действие происходит в 1867 году. Представим себе, что миссис Поултни, неожиданно появившись на пороге спальни с лампой в руке, увидела эти два тела, нежно прижавшиеся друг к другу. Вы, наверное, воображаете, что она, как разъяренный черный лебедь, выгнет шею, предаст грешниц анафеме, и вот уже их обеих в одних жалких ночных сорочках выбрасывают за гранитные ворота.

Вы глубоко ошибаетесь. Ничего подобного вообще не могло случиться — ведь мы знаем, что миссис Поултни всегда принимала на ночь лауданум. Но если бы она все-таки и оказалась там, на пороге, она почти наверняка просто повернулась бы и вышла, более того, вероятно, тихонько прикрыла бы за собою дверь, чтоб не разбудить спящих.

Непостижимо? Однако некоторые пороки были в те времена столь противоестественны, что их попросту не существовало. Сомневаюсь, чтобы миссис Поултни когда-нибудь слышала слово «лесбийский», а если и слышала, то в ее представлении оно наверняка начиналось с прописной буквы и относилось к одному из греческих островов. А кроме того — и это было для нее такой же непререкаемой истиной, как то, что земля круглая, а доктор Филпотс — епископ Эксетерский, — женщины не испытывают плотского наслаждения. Она, конечно, знала, что низшей категории женщин доставляют некоторое удовольствие греховные мужские ласки, вроде того чудовищного поцелуя, который на ее глазах был однажды запечатлен на щеке Мэри, но подобную безнравственность она приписывала женской слабости и женскому тщеславию. Прославленная благотворительность леди Коттон, разумеется, свидетельствовала о существовании проституток, но это были женщины, настолько погрязшие в разврате, что алчность заставляла их преодолевать врожденное женское отвращение ко

всему плотскому. Именно в этом она и заподозрила Мэри: раз девушка, столь грубо оскорбленная конюхом, может хихикать, значит, она несомненно уже вступила на путь порока.

Ну а Сара? По части пороков она была столь же несведуща, сколь и ее хозяйка, но она не разделяла ужаса миссис Поултни перед плотью. Она знала, или по крайней мере подозревала, что любовь доставляет физическое наслаждение. Однако она была, вероятно, настолько невинна, что об этом не стоит даже говорить. Спать вместе девушки начали вскоре после того, как бедняжка Милли упала в обморок на глазах у миссис Поултни. Доктор Гроган посоветовал перевести ее из комнаты, где спали горничные, в другую, более светлую. Случилось так, что рядом со спальней Сары давно пустовала гардеробная, куда и водворили Милли. Сара взяла на себя большую часть ухода за малокровной горничной. Милли была четвертой из одиннадцати детей бедного батрака. Семья жила в неподдающейся описанию горькой нищете. Жилищем им служила сырая, тесная, разделенная на две половины лачуга в одной из тех долин, что расходятся лучами к западу от холодного и мрачного Эгардона. Ныне этот дом принадлежит модному молодому лондонскому архитектору, который проводит здесь субботу и воскресенье и очень любит этот дикий, глухой, живописный сельский уголок. Возможно, он изгнал оттуда призрак викторианских ужасов. Надеюсь, что это так. Представления о довольном жизнью землепашце и его выводке, вошедшие в моду с легкой руки Джорджа Морланда и иже с ним (к 1867 году архизлодеем стал Биркет Фостер), были такой же глупой и пагубной попыткой сентиментально приукрасить, а следовательно, скрыть действительность, как наши голливудские фильмы о «реальной жизни». Одного взгляда на Милли с десятком жалких заморышей — ее братишек и сестренек — было бы достаточно, чтобы миф о счастливом пастушке рассеялся, как дым, однако лишь немногие удосужились бросить этот взгляд. Каждый век, каждый преступный век возводит высокие стены вокруг своего Версаля, и лично мне стены эти особенно ненавистны, когда они возводятся литературой и искусством.

Итак, однажды ночью Сара услышала, что Милли плачет. Сара вошла к ней в комнату и постаралась ее утешить, что не составило особого труда: Милли во всем, кроме возраста, была сущим ребенком; она не умела ни читать, ни писать, а вынести суждение об окружающих ее людях была способна в той же мере, что собака: когда ее гладили, отвечала благодарностью, ну а если пинали — что ж, такова жизнь. Ночь была пронизывающе холодная, и Сара попросту легла к Милли в постель, обняла ее, поцеловала и погладила. Она смотрела на больную девушку, как на одного из тех слабеньких ягнят, которых ей когда-то — до того, как аристократические замашки ее отца изгнали подобные сельские занятия из их обихода — приходилось выкармливать рожком. И право же, сравнение это как нельзя лучше подходило для дочери батрака.

С тех пор несчастный ягненок приходил к ней в комнату раза два-три в неделю. Спала Милли плохо, гораздо хуже Сары, которая порой ложилась спать

в одиночестве, а проснувшись на рассвете, находила рядом Милли — так робко и незаметно удавалось бедняжке в бессонный полуночный час забраться к ней в постель. Она боялась темноты и, не будь Сары, попросилась бы обратно в общую спальню наверху.

Эта нежная привязанность была почти бессловесной. В тех редких случаях, когда девушки разговаривали, беседа их касалась лишь повседневных домашних дел. Обе знали, что важно лишь одно — эта теплая, молчаливая, немая близость в темноте. Но ведь какой-то элемент секса наверняка был в их чувствах? Возможно, но они никогда не преступали границ, дозволенных двум сестрам. Несомненно, где-нибудь, в ином окружении, среди опустившейся до скотства городской бедноты, среди наиболее эмансипированной аристократии в те дни можно было встретить всевозможные пороки, но такое широко распространенное в викторианский век явление, как женщины, спящие в одной постели, следует приписать скорее отвратительной грубости тогдашних мужчин, нежели более сомнительным причинам. И наконец — разве в такой бездне одиночества любая тяга людей друг к другу не ближе к человечности, чем к извращению и разврату?

Так пусть же они спят, эти два невинных создания, а мы тем временем вернемся к другим, более разумным, более ученым и во всех отношениях более развитым особям мужского пола, что бодрствуют поблизости от моря.

Упомянутые два венца творения от темы «Мисс Вудраф» и весьма обоюдоострых метафор по части тумана перешли к менее двусмысленной области палеонтологии.

— Согласитесь, — сказал Чарльз, — что открытия Лайеля чреватые выводами, выходящими далеко за пределы науки, которой он занимался. Боюсь, что теологам предстоит жестокая схватка.

Замечу, что Лайель был отцом современной геологии. Уже в 1778 году Бюффон в своих знаменитых «Эпохах природы» взорвал миф (изобретенный в XVII веке архиепископом Ашером и со всей серьезностью воспроизводимый в бесчисленных изданиях официальной английской Библии) о том, что мир был сотворен в 9 часов утра 26 октября 4004 года до рождества Христова. Но даже великий французский естествоиспытатель не посмел отодвинуть возникновение вселенной более чем на 75 тысяч лет назад. «Основы геологии» Лайеля, которые были опубликованы между 1830 и 1833 годами — и, таким образом, очень удачно совпали с реформами в других областях, — отбросили его назад на миллионы лет. Ныне почти забытый, Лайель сыграл в свое время важную роль: он открыл для своего века и для бесчисленных исследователей, работающих в других отраслях науки, чреватое богатейшими возможностями пространство. Открытия его, подобно урагану, пронесли по затхлым метафизическим коридорам века, поражая леденящим ужасом робких, но воодушевляя смелых. Следует, однако, помнить, что в то время, о котором я пишу, мало кто знал о шедевре Лайеля хотя бы понаслышке, еще меньшее число верило в его теории

и совсем уж незначительное меньшинство понимало все их значение. «Книга Бытия» — величайшая ложь, но это также величайшая поэма, а шеститысячелетнее чрево гораздо уютнее такого, которое растянулось на две тысячи миллионов лет.

Поэтому Чарльза так заинтересовало (и будущий тёсть, и дядя приучили его подходить к этому вопросу очень осторожно), разделит или отвергнет доктор Гроган его беспокойство за теологов. Но доктор не пошел ему навстречу. Устремив свой взор в огонь, он пробормотал:

— Да, пожалуй.

Наступило молчание, которое Чарльз прервал, спросив небрежным тоном, словно желая лишь поддержать разговор:

— Ну, а этого пресловутого Дарвина вы читали?

В ответ доктор сердито взглянул на него поверх очков, затем поднялся и, захватив с собой лампу, пошел в противоположный конец узкой комнаты, где стоял книжный шкаф. Вернувшись, он вручил Чарльзу книгу. Это было «Происхождение видов». Чарльз поднял глаза и встретил его суровый взгляд.

— Я вовсе не хотел...

— Вы ее читали?

— Да.

— В таком случае как вы смее называть великого человека «этот пресловутый Дарвин»?

— Но вы же сами говорили...

— Эта книга — о живых, а не о мертвых, Смитсон.

Гроган сердито отвернулся и водворил лампу обратно на стол. Чарльз встал.

— Вы совершенно правы. Простите.

Маленький доктор искоса на него взглянул.

— Несколько лет назад сюда приезжал Госсэ со своей компанией *bas-bleus*¹, которые помешаны на морских улитках. Читали вы его «Пуп Земли»?²

Чарльз улыбнулся.

— По-моему, это величайшая чушь.

Гроган, подвергнув Чарльза как позитивному, так и негативному испытанию, ответил ему печальной улыбкой.

— Именно это я ему и сказал после лекции, которую он тут соизволил прочитать. — Раздув свои ирландские ноздри, доктор позволил себе два раза торжествующе

¹ Синих чулок (фр.).

² «Пуп Земли, или Попытка развязать геологический узел» ныне забыт, что достойно всяческого сожаления, ибо это одна из самых любопытных и совершенно непреднамеренно производящих комический эффект книг целой эпохи. Ее автор был членом Королевского научного общества и крупным специалистом по биологии моря. Однако страх перед Лайелем и последователями этого ученого заставил его в 1857 году выступить с теорией, которая одним махом устраняла все несоответствия между наукой и библейской легендой о сотворении мира. Госсэ выдвинул следующий хитроумный довод: в тот день, когда Бог создал Адама, он заодно создал все ископаемые и вымершие формы жизни — что, безусловно, следует расценивать как самую непостижимую попытку замести следы, какую человек когда-либо приписывал божеству. Вдобавок трудно было выбрать более неудачный момент для опубликования «Пула» — всего за два года до «Происхождения видов». Полвека спустя сын Госсэ Эдмунд обессмертил его в своих знаменитых изящных мемуарах. (Примеч. автора.)

фыркнуть. — Не больше и не меньше. Теперь этот пустозвон от фундаментализма еще подумает, прежде чем снова оглашать своим пустозвонством нашу честь дорсетского побережья. — Он более добродушно посмотрел на Чарльза. — Вы дарвинист?

— Страстный.

Гроган схватил его руку и крепко ее пожал, словно он был Робинзоном Крузо, а Чарльз — Пятницей; и быть может, в эту минуту между ними возникла некая духовная близость, как бессознательно возникла она между двумя девушками, которые спали в Мальборо-хаусе. Оба поняли, что они подобны двум щепоткам дрожжей в огромном корыте сонного теста, двум крупинкам соли в море пресной похлебки.

Итак, два наших карбонария духа — мальчик в мужчине всегда рад поиграть в тайные общества — приступили к очередной порции грога; вновь были зажжены сигары, и празднество — теперь уже во славу Дарвина — продолжалось. Вы, быть может, полагаете, что им следовало осознать свое ничтожество перед теми великими новыми истинами, которые составляли предмет их разговора, боюсь, однако, что оба, а в особенности Чарльз (уже светало, когда он вышел наконец от доктора), склонны были скорее к восторженному ощущению своего интеллектуального превосходства над всеми прочими смертными.

Темный город являл собою косную человеческую массу, погруженную в вековой сон, тогда как Чарльз, результат естественного отбора и естественно причисленный к избранным, являл собою чистый интеллект. Свободный, как Бог, один с недреманными звездами, он гордо шел вперед, постигший все на свете.

То есть все, кроме Сары.

20

Ужель Природа-Мать навечно
С Творцом разделена враждой,
Что, опекая род людской,
С отдельной жизнью так беспечна?

А. Теннисон. *In Memoriam* (1850)

Наконец она прервала молчание и высказала все доктору Беркли. Опустившись на колени, личный врач Джона Кеннеди дрожащей рукой показал ей страшные пятна на ее юбке. «Может быть, вам лучше переодеться?» — предложил он неуверенно.³

«Нет, — вне себя прошептала она. — Пусть видят, что они наделали».

Уильям Манчестер. *Смерть президента*

Она стояла вполоборота к Чарльзу на затененном конце туннеля из плюща. Она не оглянулась; она видела, как он взбирался по склону меж ясеней. День утопал в сверкающей лазури, дул теплый юго-западный ветерок. Он принес с собой рой весенних бабочек — капустниц, крапивниц и лимонниц, — которых мы, убедившись в их несовместимости с высокопродуктивным сельским хозяйством, за последнее время почти полностью истребили ядами. Всю дорогу мимо сыроварни и через лес бабочки, приплясывая, сопровождали Чарльза, а одна — сверкающий золотистый блик — вилась теперь в светлой прогалине позади темного силуэта Сары.

Прежде чем шагнуть в темно-зеленый сумрак под плющом, Чарльз остановился и боязливо посмотрел вокруг, желая убедиться, что никто его не видел. Но над лесным безлюдьем простиралась одна лишь голые ветви гигантских ясеней.

Пока он не подошел вплотную, она не обернулась, но даже и тогда, упорно не поднимая глаз, вытащила из кармана и молча протянула ему еще один панцирь, словно это была некая искупительная жертва. Чарльз взял окаменелость, однако замешательство Сары перешло к нему.

— Позвольте мне заплатить вам за эти панцири столько, сколько с меня спросили бы за них в лавке мисс Эннинг.

Тут она подняла голову, и взгляды их наконец встретились. Он понял, что она обиделась, и вновь испытал безотчетное ощущение, будто его пронзили клинком, будто он не оправдал ожиданий, обманул ее надежды. Однако на сей раз это заставило его взять себя в руки, вернее, взять такой тон, какого он решил держаться, — ведь со времени событий, изложенных в последних главах, прошло уже два дня. Мимолетное замечание доктора Грогана о преимуществе живых над мертвецами возымело действие, и Чарльз теперь увидел в своем приключении научный, а не только филантропический смысл. Он уже раньше честно признался себе, что, кроме неприличия, оно содержит также элемент удовольствия, теперь же ясно различил в нем еще и элемент долга. Сам он, безусловно, принадлежит к существам наиболее приспособленным, но наиболее приспособленные человеческие существа несут, однако, определенную ответственность за менее приспособленных.

Он опять подумал, не рассказать ли Эрнестине о своих встречах с мисс Вудраф. Но увы — слишком живо представил себе глупые женские вопросы, которые она может ему задать, и неприятное положение, в которое он неизбежно попадет, если ответит на них правдиво. И он быстро решил, что Эрнестина как женщина, и притом женщина неопытная, не поймет его человеколюбивых побуждений, и таким образом весьма ловко уклонился от еще одной, не особенно приятной стороны долга.

Поэтому он не дрогнул под укоризненным взглядом Сары.

— Случилось так, что я богат, а вы бедны. К чему нам эти церемонии?

В-этом, собственно, и заключался его план: выказать ей сочувствие, но держать ее на расстоянии, напомнив о разнице в их общественном положении... хотя, конечно, только мимоходом и с легкой иронией.

— Мне больше нечего вам подарить.

— Я не вижу, почему вы вообще должны мне что-либо дарить.

— Вы пришли.

Ее смирение смутило его почти так же, как и ее гордость.

— Я убедился, что вы и в самом деле нуждаетесь в помощи. И хотя я по-прежнему не понимаю, почему вы хотите посвятить меня... — тут он запнулся, потому что на языке у него вертелось: «в то, что вас беспокоит»,

а подобные слова показали бы, что он выступает в роли врача, а не только джентльмена, — в ваши затруднения, однако же я здесь и готов выслушать то, что вы... правильно ли я вас понял?.. хотели бы мне рассказать.

Сара снова подняла на него взгляд. Чарльз был польщен. Она робко указала на залитый солнцем выход из туннеля.

— Я знаю здесь поблизости одно укромное место. Не можем ли мы отправиться туда?

Он кивнул в знак согласия; она вышла на солнце и пересекла каменную прогалину, где Чарльз искал окаменелости, когда она наткнулась на него в первый раз. Она шла легким уверенным шагом, одной рукою подобрав подол, а в другой несла свой черный капор, держа его за ленты. Следуя за нею далеко не так проворно, Чарльз заметил, что ее черные чулки заштопаны, а задники ботинок стоптаны, заметил он также бронзовый отлив ее темных волос. Он подумал, как, должно быть, хороши эти пышные густые волосы, если их распустить, и хотя она убирала их под высокий воротник пальто, он задался вопросом, уж не тщеславие ли заставляет ее так часто носить капор в руке.

Они вошли в еще один зеленый туннель; он вывел их к зеленому склону, образованному некогда обвалом отвесной скалы. Осторожно ступая по травянистым кочкам, Сара зигзагами взобралась на самый верх. Чарльз с трудом поспевал за ней; подняв голову, он мельком увидел чуть повыше ее лодыжек белые завязки панталон. Благородная дама пропустила бы его вперед.

Наверху Сара остановилась, поджидая его. Он прошел за ней по гребню уступа. Над ними вздымался еще один склон на несколько сот ярдов выше первого. Эти «ступени», образованные оседанием породы, так велики, что их видно даже с Кобба, с расстояния не менее двух миль. Расщелина привела их к еще более крутому уступу. Он был наклонен под таким углом, что показался Чарльзу очень опасным — стоит поскользнуться, и тотчас скатишься на несколько футов через гребень нижнего утеса. Будь он один, он бы, наверное, заколебался. Но Сара спокойно поднималась вверх, словно совсем не сознавала опасности. На дальнем конце склона почва немного выравнивалась. Тут-то и находилось ее «укромное место».

Это была маленькая, открытая к югу лощинка, окруженная густыми зарослями свидины и куманики — нечто вроде миниатюрного зеленого амфитеатра. Позади арены — если можно так назвать площадку не более пятнадцати футов в ширину — рос невысокий боярышник, и кто-то (уж, конечно, не Сара) привалил к его стволу большую плоскую кремневую глыбу, соорудив таким образом самодельный трон, с которого открывался великолепный вид на вершины растущих внизу деревьев и море за ними. Чарльз в своем фланелевом костюме изрядно запыхался и еще более изрядно вспотел. Он осмотрелся. Края лощины были усеяны фиалками, первоцветом и белыми звездочками цветущей земляники. Согретая полуденным солнцем, защищенная со всех сторон прелестная полянка как бы парила в воздухе.

— Примите мои комплименты. Вы обладаете даром отыскивать орлиные гнезда.

— Я ищу одиночества.

Она предложила ему сесть на кремневую глыбу под низкорослым боярышником.

— Но ведь вы, наверное, сами здесь всегда сидите.

Однако она повернулась и быстрым грациозным движением опустилась на небольшой холмик в нескольких футах от дерева, так, чтобы сидеть лицом к морю и — Чарльз это понял, заняв более удобное место, — чтобы наполовину скрыть от него свое лицо, но опять с безыскусным кокетством так, чтобы он непременно обратил внимание на ее волосы. Она сидела очень прямо, но опустив голову и неестественно долго укладывая возле себя капор. Чарльз наблюдал за ней, улыбаясь про себя и изо всех сил стараясь не улыбнуться открыто. Он видел, что она не знает, с чего начать, и в то же время эта сцена *al fresco*¹, никак не вязавшаяся с ее принужденной застенчивостью, отличалась такой непринужденностью, словно они были детьми — братом и сестрой.

Сара положила на землю капор, расстегнула пальто, сложила руки на коленях, но все еще молчала. Высокий воротник и необычный покрой ее пальто, особенно сзади, придавали ее облику что-то мужское, и потому она чуть-чуть напоминала девушку-возничего, девушку-солдата — но лишь чуть-чуть, ибо волосы легко это сходство скрадывали. Чарльз с некоторым удивлением заметил, что поношенная одежда несколько ее не портит, почему-то даже больше к ней идет, чем пошла бы одежда более нарядная. Последние пять лет наблюдалась небывалая эмансипация в области женской моды — по крайней мере в Лондоне. Впервые появился в обиходе предмет туалета, искусственно подчеркивающий красивую форму груди; начали красить брови и ресницы, мазать губы, подцвечивать волосы... И делали это почти все светские женщины, а не только дамы полусвета. Однако у Сары ничего подобного не было и в помине. Казалось, она совершенно равнодушна к моде и тем не менее способна выдержать любое сравнение с кем угодно, подобно тому как скромный первоцвет у ног Чарльза выдержал бы сравнение с любым экзотическим тепличным цветком.

Итак, Чарльз молча сидел, несколько царственно возвышаясь над расположившейся у его ног необычной просительницей и отнюдь не горя желанием ей помочь. Однако она упорно молчала. Была ли тому причиной ее скромность и робость — неизвестно, но только Чарльз все яснее сознавал: она бросает ему вызов, ждет, чтобы он вытянул из нее эту тайну; и наконец он сдался.

— Мисс Вудраф, безнравственность всегда была мне отвратительна. Но еще более отвратительна мне нравственность, не знающая снисхождения. Обещаю вам, что я не буду слишком строгим судьей.

Она еле заметно кивнула, но по-прежнему медлила. И вдруг с отчаянной решимостью пловца, который долго мешкал на берегу, не решаясь войти в воду, погрузилась в свою исповедь.

— Его звали Варгени. Его привезли в дом капитана Тальбота после кораблекрушения. Кроме него спаслись только двое, все остальные утонули. Но вам, наверное, об этом уже рассказывали?

— Только о случившемся, но не о нем самом.

— Прежде всего меня восхитило его мужество.

Тогда я еще не знала, что очень храбрые люди могут быть очень лживыми. — Она устремила взгляд к морю, словно ее слушателем было оно, а вовсе не Чарльз. — Он был тяжело ранен. У него было вспорото все бедро. Если бы началась гангрена, он бы лишился ноги. Первые дни он страдал от страшной боли. Но он ни разу не вскрикнул. Ни единого стога. Когда доктор перевязывал ему рану, он сжимал мне руку. Так крепко, что однажды я едва не потеряла сознание.

— Он не говорил по-английски?

— Он знал всего несколько слов. Миссис Тальбот говорила по-французски не лучше, чем он по-английски. А капитан вскоре уехал по делам службы. Варгени сказал нам, что родом он из Бордо. Что его отец, состоятельный адвокат, женился вторично и обманным путем присвоил наследство детей от первого брака. Варгени нанялся на корабль, который перевозил вино. По его словам, когда произошло кораблекрушение, он был помощником капитана. Но все, что он говорил, было ложью. Кто он на самом деле, я не знаю. Он казался джентльменом. Вот и все.

Она говорила как человек, не привыкший к связной речи, останавливаясь после каждой неуверенной обрубленной фразы, то ли чтобы обдумать следующую, то ли ожидая, что он ее переберет, — Чарльз так и не понял.

— Да, я понимаю, — пробормотал он.

— Иногда мне кажется, что кораблекрушение тут ни при чем, и он вовсе не тонул. То был дьявол в обличье моряка. — Она опустила взгляд на руки. — Он был очень красив. Никто прежде не оказывал мне такого внимания — я хочу сказать, когда он стал поправляться. Читать ему было некогда. Он вел себя как ребенок. Ему требовалось общество, он хотел, чтобы его слушали, чтобы с ним беседовали. Мне он говорил всякие глупости. Что он не понимает, отчего я не замужем. И тому подобное. Я ему верила.

— Короче говоря, он делал вам авансы?

— Вы не должны забывать, что говорили мы только по-французски. Быть может, из-за этого все, что говорилось тогда между нами, казалось мне не очень реальным. Я не бывала во Франции и плохо знаю разговорный язык. Часто я не вполне понимала, что он говорит. Нельзя винить во всем его одного. Я могла услышать то, чего он вовсе не имел в виду. Иногда он надо мною подшучивал. Но мне казалось, что он не хотел меня обидеть. — На секунду она заколебалась. — Я... мне это даже нравилось. Он называл меня жестокой за то, что я не позволяла поцеловать мне руку. Наступил день, когда я сама сочла себя жестокой.

— И перестали быть жестокой.

— Да.

Низко над ними пролетела ворона; ее черные перья лоснились, топорщась на ветру; на мгновение неподвижно застыв в воздухе, она вдруг испуганно метнулась прочь.

— Я понимаю.

Он всего лишь хотел подбодрить рассказчицу, но она восприняла его слова буквально.

— Нет, вам этого не понять, мистер Смитсон. Потому что вы не женщина. Не женщина, которой суждено было стать женою фермера и которую воспитали для лучшей

¹ На открытом воздухе (ит.).

доли. Моей руки просили не раз. Когда я жила в Дорчестере, один богатый скотовод... впрочем, это неважно. Вы не родились женщиной, которая от природы исполнена уважения, восхищения перед умом, образованностью, красотой... я не знаю, как это выразить, я не имею права их желать, но стремлюсь к ним всей душой и не могу поверить, что это одно лишь тщеславие...— Она помолчала.— Вы никогда не были гувернанткой, мистер Смитсон,— молодой женщиной, у которой нет своих детей и которую нанимают присматривать за чужими. Откуда вам знать, что чем они милее, тем нестерпимее страдание. Вы не должны думать, что я говорю так из зависти. Я любила малюток Поля и Виргинию, я не питаю к миссис Тальбот ничего, кроме привязанности и благодарности,— я готова умереть за нее и ее детей. Но изо дня в день быть свидетелем семейного счастья, наблюдать счастливое супружество, домашний очаг, прелестных детей...— Она остановилась.— Миссис Тальбот моя ровесница.— Она опять остановилась.— В конце концов мне стало казаться, будто мне позволено жить в раю, но запрещено вкушать райское блаженство.

— Но разве каждый из нас не чувствует по-своему, что ему недостает чего-то в жизни?

В ответ она с таким ожесточением покачала головой, что Чарльз даже удивился. Он понял, что затронул какую-то глубоко затаенную струну в ее душе.

— Я лишь хотел заметить, что привилегированное положение в обществе не обязательно приносит счастье.

— Нельзя сравнивать такое положение, при котором счастье по крайней мере возможно, и такое, когда...— она опять покачала головой.

— Но вы же не станете утверждать, что все гувернантки несчастны — или остаются в девушках?

— Такие, как я,— да.

Помолчав, он сказал:

— Я перебил вас. Простите.

— А вы верите, что я говорю не из зависти?

Тут она обернулась и пристально на него посмотрела; он кивнул. Сорвав стебелек молочая с голубыми цветами, она продолжала:

— Варгенн выздоровел. До его отъезда оставалась еще неделя. К тому времени он объяснился мне в своих чувствах.

— Он просил вас выйти за него замуж?

Казалось, ей нелегко ответить на этот вопрос.

— Он заводил разговор о женитьбе. Сказал, что когда он вернется во Францию, его произведут в капитаны корабля, на котором перевозят вино. Что он и его брат надеются вернуть утраченное ими наследство.— Поколебавшись, она наконец призналась.— Он звал меня с собой во Францию.

— И миссис Тальбот об этом знала?

— Она добрейшая из женщин. И самая невинная. Будь при этом капитан... Но его не было. Сначала я стеснялась ей признаться. А под конец испугалась,— добавила она,— испугалась того совета, который ожидала от нее услышать.— Она принялась обрывать лепестки молочая.— Варгенн становился все настойчивее. Он сумел убедить меня, что от того, соглашусь ли я последовать за ним, зависит счастье всей его жизни,

более того, мое счастье тоже. Он многое обо мне узнал. Что мой отец умер в доме для умалишенных. Что я осталась без родных, без средств. Что долгие годы я чувствовала себя каким-то таинственным образом обреченной на одиночество, но не знала, за что.— Она отложила в сторону молочай и сжала руки на коленях.— Моя жизнь погружена в одиночество, мистер Смитсон. Мне словно предопределено. судьбой никогда не знать дружбы с равным мне человеком, никогда не жить в своем собственном доме, никогда не смотреть на мир иначе, как на правило, из которого я должна быть исключением. Четыре года назад мой отец обанкротился. Все наше имущество было распродано. С тех пор мне все время чудится, что даже вещи — обыкновенные столы, стулья, зеркала — как бы сговорились меня отринуть. Мы никогда не будем тебе принадлежать, говорят они, никогда не будем твоими. Всегда только чужими. Я знаю, что это безумие. Я знаю, что в промышленных городах есть такие нищие, такие одинокие люди, что по сравнению с ними я живу в довольстве и роскоши. Но когда я читаю про жестокие акты мести, совершаемые рабочими, я какой-то частью души их понимаю. Я даже почти им завидую, потому что они знают, где и как отомстить. А я бессильна.— В ее голосе зазвучало что-то новое, сила чувства, которая отчасти противоречила последней фразе. Она добавила, более спокойно: — Боюсь, что я не умею как следует все это объяснить.

— Я не уверен, что могу извинить ваши чувства. Но я их очень хорошо понимаю.

— Варгенн отправился в Уэймут. Миссис Тальбот, конечно, думала, что он с первым же пакетботом уедет. Но мне он сказал, что будет ждать меня там. Я ничего ему не обещала. Напротив, я поклялась ему, что... но я плакала. Наконец он сказал, что будет ждать ровно неделю. Я ответила, что ни за что не последую за ним. Но когда прошел день, потом другой, а его не было рядом и мне не с кем было поговорить, на меня вновь нахлынуло одиночество, о котором я вам рассказывала. Я чувствовала, что потону в нем, хуже того, что я упустила доску, которая могла меня спасти, и что она уплывает прочь. Меня охватило отчаяние. Отчаяние, удвоенное тем, что я должна была его скрывать. На пятый день я не могла более этого вынести.

— Но, сколько я понял, все происходящее скрывалось от миссис Тальбот. Разве это не внушило вам подозрений? Человек, который питает благородные намерения, едва ли станет так себя вести.

— Мистер Смитсон, я знаю: тому, кто недостаточно знаком со мною и с тогдашними моими обстоятельствами, мое безрассудство, моя слепота, помешавшие мне постичь истинный характер этого человека, должны показаться преступными. Я не могу этого скрыть. Быть может, я всегда это знала. Наверное, какой-то глубоко скрытый в моей душе изъян требовал, чтобы все лучшее во мне было ослеплено. К тому же мы ведь и начали с обмана. А раз вступив на этот путь, не так легко с него сойти.

Для Чарльза это могло бы послужить предостережением, но он был слишком поглощен рассказом об ее жизни, чтобы подумать о своей.

— Вы поехали в Уэймут? ◆

— Я обманула миссис Тальбот, выдумав историю про школьную подружку, которая будто бы тяжело заболела. Она была уверена, что я еду в Шерборн. Дорога туда тоже проходит через Дорчестер. Добравшись до него, я тотчас пересела в Уэймутский омнибус.

Но здесь Сара умолкла и опустила голову, словно была не в силах продолжать.

— Пощадите себя, мисс Вудраф. Я догадываюсь...

Она покачала головой.

— Я подхожу к событию, о котором должна рассказать. Только я не знаю как.

Чарльз тоже опустил глаза. Внизу в листве одного из могучих ясеней под мирным голубым небом раздавалась неистовая песня невидимого дрозда. Наконец Сара продолжила свой рассказ.

— Недалеко от гавани я нашла меблированные комнаты. Затем я направилась в гостиницу, где он должен был остановиться. Там его не было. Меня ожидала записка, в которой он называл другую гостиницу. Я поспешила туда. Эта гостиница... не была приличной. Я поняла это из того, как мне там отвечали, когда я его спросила. Мне объяснили, как найти его комнату, полагая, что я поднимусь к нему наверх. Но я настояла, чтобы за ним послали. Он пришел. Увидев меня, он, казалось, был счастлив, как и полагается влюбленному. Он извинился за убогий вид гостиницы. Сказал, что она дешевле и что здесь часто останавливаются французские моряки и купцы. Я была испугана, а он был очень внимателен. Я весь день ничего не ела — он приказал подать ужин...

Поколебавшись, она продолжала:

— В общих комнатах было очень шумно, и мы перешли в гостиную. Не могу объяснить вам почему, но я поняла, что он переменялся. Как ни старался он мне угодить, какие нежные слова и улыбки ни расточал, я поняла, что, если бы я не приехала, он не был бы ни удивлен, ни слишком опечален. Я поняла, что была для него всего лишь развлечением на время его болезни. С моих глаз упала пелена. Я увидела, что он неискренний человек... лжец. Увидела, что стать его женой значило бы стать женою недостойного авантюриста. Я увидела все это в первые же пять минут нашего свидания. — Она остановилась, словно вдруг услышала, что в ее голос снова вкралась горечь самоосуждения; затем, понизив голос, продолжала: — Вы спросите — как я не видела этого раньше. Наверно, видела. Но видеть что-нибудь еще не значит это признавать. Он напоминал ящерицу, которая меняет окраску в зависимости от окружения. В доме джентльмена он казался джентльменом. В этой гостинице я постигла его подлинную сущность. И поняла, что окраска, которую он принял там, гораздо естественнее прежней.

Мгновение она смотрела на море. Чарльз подумал, что теперь ее щеки, вероятно, залились еще более ярким румянцем, но лица ее он не видел.

— Я знаю, что при таких обстоятельствах любая... любая порядочная женщина тотчас бы ушла. Тысячу раз с того вечера я искала объяснений своему поступку, но убедилась, что его ничем нельзя объяснить. Вначале, когда я поняла свою ошибку, меня сковал ужас... это было так страшно... Я пыталась найти в Варгенне

достоинство, порядочность, честь. А потом возмутилась, что меня так обманули. Я говорила себе, что если бы не это невыносимое одиночество в прошлом, я не была бы так слепа. Иначе говоря, я возлагала всю вину на обстоятельства. Прежде я никогда не попадала в такое положение. Никогда не переступала порога такой гостиницы, где, казалось, не ведают приличий и где служение греху столь же естественно, сколь служение добродетели в храме. Я не могу вам этого объяснить. Мой разум помрачился. Быть может, я думала, что обязана сама распорядиться собственной судьбой. Я бежала к этому человеку. Чрезмерная скромность должна казаться бессмысленной... чуть ли не тщеславием. — Она помолчала. — Я осталась. Я съела ужин, который нам подали. Я выпила вина, которое он заставил меня выпить. Оно меня не опьянило. Я даже думаю, что оно позволило мне еще яснее видеть... скажите, так бывает?

Она едва заметно повернула голову, ожидая ответа, словно Чарльз мог исчезнуть, и она хотела удостовериться — хотя и не смела на него взглянуть, — что он не растворился в воздухе.

— Без сомнений.

— Мне показалось, что оно придало мне силы и мужества... а также пронизательности. Оно не было орудием дьявола. Наконец Варгенн не мог больше скрыть свои истинные намерения. Да и я не могла разыгрывать удивление. Чистота моя была притворной с той минуты, когда я решила остаться. Я не стараюсь себя оправдать, мистер Смитсон. Я прекрасно знаю, что было еще не поздно — даже когда служанка убрала со стола и вышла, закрыв за собою дверь, — было еще не поздно уйти: Я могла бы сказать вам, что он воспользовался моей беспомощностью, одурманил меня — да все, что угодно. Нет. Он был человек ветреный, человек без совести, беспредельно себялюбивый. Но он бы никогда не попытался овладеть женщиной против ее воли.

И тут, когда Чарльз меньше всего мог ожидать, она обернулась и посмотрела прямо ему в глаза. Лицо ее заливала краска, но, как ему показалось, не краска стыда — а скорее какого-то вдохновения, негодования и вызова; словно она стояла перед ним обнаженная, но была этим горда.

— Я ему отдалась.

Чарльз не выдержал ее взгляда и с чуть заметным кивком опустил глаза.

— Так.

— Поэтому я обещана вдвойне. В силу обстоятельств. И собственного выбора.

Наступило молчание. Она опять отвернулась к морю.

— Я не просил вас рассказывать мне об этом, — тихо проговорил он.

— Мистер Смитсон, я хочу, чтобы вы поняли — дело не в том, что я совершила этот позорный поступок, а в том, зачем я его совершила. Зачем я пожертвовала самым дорогим достоянием женщины мимолетному удовольствию человека, которого я не любила. — Она приложила ладони к щекам. — Я сделала это затем, чтоб никогда уж не быть такою, как прежде. Я сделала это

затем, чтобы люди показывали на меня пальцем и говорили: вон идет шлюха французского лейтенанта — о да, пора уже произнести это слово. Затем, чтоб они знали, как я страдала и страдаю, подобно тому как страдают другие во всех городах и деревнях нашей страны. Я не могла связать себя супружеством с этим человеком. Тогда я связала себя супружеством с позором. Я не стану утверждать, будто понимала тогда, что я делаю, что совершенно хладнокровно позволила Варгенну собою овладеть. В ту минуту мне казалось, будто я кинулась в пропасть или ножом пронзила себе сердце. Это было в некотором роде самоубийство. Поступок, вызванный отчаянием, мистер Смитсон. Я знаю, что это грех... кощунство, но я не знала иного средства покончить со своею прежней жизнью. Если бы я ушла из этой комнаты, вернулась к миссис Тальбот и продолжала жить, как прежде, то сейчас действительно была бы мертва... и притом от собственной руки. Жить мне позволил мой позор, сознание, что я и в самом деле не похожа на других женщин. У меня никогда не будет их невинных радостей, не будет ни детей, ни мужа. А им никогда не понять, почему я совершила это преступление.— Она остановилась, словно впервые ясно осознала смысл своих слов.— Иногда мне их даже жаль. Я думаю, что я обладаю свободой, которой им не понять. Мне не страшны ни униженья, ни хула. Потому что я переступила черту. Я — ничто. Я уже почти не человек. Я — шлюха французского лейтенанта.

Чарльз весьма смутно понял, что она пыталась сказать своей последней длинной речью. Пока она не дошла до принятого ею в Уэймуте странного решения, он сочувствовал ей гораздо больше, чем это могло показаться; он представлял себе, какой медленной, безысходной мукой была ее жизнь в гувернантках, как легко ей было попасть в когти такого обаятельного негодяя, как Варгенн; но эти рассуждения о свободе за чертой, о том, что она связала себя супружеством с позором, были для него непостижимы. Однако кое-что он уразумел, ибо к концу своей оправдательной речи Сара заплакала. Она утаила свои слезы, во всяком случае, пыталась их утаить, то есть не стала закрывать лицо руками или доставать платок, а только отвернулась. Чарльз не сразу проник в истинную причину ее молчания.

Но затем, повинувшись какому-то безотчетному побуждению, он встал и бесшумно шагнул по траве, чтобы увидеть ее лицо в профиль. Щека была мокрой от слез, и он почувствовал, что нестерпимо тронут, смущен, что его затянуло в водоворот, который увлекает его все дальше от надежной пристани бесстрастного и беспристрастного сочувствия. Он живо представил себе сцену, в подробности которой она не вдавалась,— сцену ее падения. Он был в одно и то же время Варгенном, наслаждавшимся близостью с ней, и человеком, который бросался к нему и ударом повергал его на землю, тогда как Сара была для него и невинною жертвой, и иступленной падшей женщиной. В глубине души он прощал ей потерю невинности, и ему мерещился глухой сумрак, в котором он мог бы насладиться ею сам.

Такой внезапный переход из одного сексуального регистра в другой сегодня просто невозможен. Мужчина и женщина, едва успев оказаться в самом случайном контакте, тотчас рассматривают возможность физической близости. Такое откровенное признание истинных стимулов человеческого поведения представляется нам вполне здоровым, но во времена Чарльза отдельные личности не признавались в тех желаниях, что были под запретом общества в целом; и когда на сознание набрасывались эти затаившиеся тигры, оно оказывалось до смешного неподготовленным.

Кроме того, викторианцам была свойственна эта удивительная египетская черта, эта клаустрофилия, о которой так недвусмысленно свидетельствует их одежда, пеленающая их, словно мумий, архитектура их тесных коридоров и узких окон, их страх перед всем открытым и обнаженным. Прячьте действительность, отгораживайтесь от природы. Революцией в искусстве той поры было, разумеется, движение прерафаэлитов; они по крайней мере сделали попытку признать природу и сексуальность, но стоит лишь сравнить пасторальный фон Милле или Форда Мэдокса Брауна с фоном у Констебля и Пальмера, чтобы понять, насколько условно, насколько идеализированно прерафаэлиты трактовали внешний мир. А потому и открытая исповедь Сары — открытая не только в прямом смысле, но и потому, что происходила она на открытом воздухе при ярком солнечном свете,— пожалуй, не столько напомнила ему о более суровой действительности, сколько позволила заглянуть в идеальный мир. Она казалась странной не потому, что была приближением к действительности, а потому, что была удалением от нее, мифом, в котором обнаженная красота значила гораздо больше, нежели голая правда.

Чарльз стоял и смотрел на Сару; прошло несколько мучительных секунд; потом он повернулся и снова сел на свой камень. Сердце у него колотилось так, словно он только что отступил от края пропасти. Далеко в открытом море в южной части горизонта показалась прозрачная армада облаков. Розоватые, янтарные, снежно-белые, словно цепь блистающих горных вершин, словно башни и крепостные стены, простиравшиеся насколько хватал глаз... но такие недостижимые — недостижимые, как некая Телемская обитель, некая земля идиллической безгрешности и забвения, где Чарльз, Сара и Эрнестина могли бы бродить вместе...

Я не хочу сказать, что мысли Чарльза носили такой постыдно магометанский оттенок. Просто эти далекие облака напомнили ему о собственной неудовлетворенности; о том, как хотелось бы ему снова плыть Тирренским морем; или, сидя в седле, вдыхать сухие ароматы земли на пути к далеким стенам Авилы; или брести по опаленному солнцем берегу Эгейского моря к какому-нибудь греческому храму. Но даже и там легкая манящая тень, смутный силуэт, умершая сестра Чарльза, опередив его, скользнула по каменным ступеням и скрылась туда, где вечно хранит свою тайну рухнувшая колоннада.

Маргарита, не надо
Уклоняться, мой друг,
От моих понапрасну
Простираемых рук.

Не дотянутся руки,
Ты не будешь со мной —
Наше прошлое встало
Между нами стеной.

*Мэтью Арнольд.
Расставание (1852)*

Минутное молчание. Слегка вскинув голову, она показала, что взяла себя в руки. Потом полуобернулась.

— Позвольте, я закончу. Мне немного осталось добавить.

— Но прошу вас, не надо так волноваться.

Она согласно кивнула и продолжала:

— Назавтра он сел на корабль и уехал. У него было довольно предложений. Семейные неурядицы, долгая отлучка из дома. Он говорил, что сразу вернется. Я знала, что это ложь. Но я смолчала. Вы, наверное, полагаете, что мне следовало возвратиться обратно к миссис Тальбот и сделать вид, будто я и в самом деле была в Шерборне. Но я не могла скрыть свои чувства, мистер Смитсон. Я была вне себя от отчаяния. Достаточно было увидеть мое лицо, чтобы понять: за время моего отсутствия в моей жизни совершился какой-то перелом. Да я и не могла бы солгать миссис Тальбот. Я не хотела лгать.

— Значит, все то, что вы мне сейчас рассказали, вы рассказали и ей?

Она опустила взгляд на свои руки.

— Нет. Я сказала ей, что виделась с Варгенном. Что он скоро вернется и женится на мне. Я говорила так не из гордости. У миссис Тальбот достало бы великодушия понять правду — то есть простить меня. Но я не могла ей сказать, что на мой поступок меня в какой-то степени толкнуло ее собственное счастье.

— Когда вы узнали, что он женат?

— Месяц спустя. Он изобразил себя человеком, несчастным в супружестве. По-прежнему говорил, что любит меня, что все устроит... Для меня это не было ударом. Я не ощутила боли. Я ответила ему без гнева. Написала, что привязанность моя угасла, и я не желаю больше его видеть.

— И вы скрыли это от всех, кроме меня?

Она долго медлила с ответом.

— Да. По той причине, о которой я вам говорила.

— Чтобы себя наказать?

— Чтобы быть тем, чем я должна быть. Отверженной.

Чарльз вспомнил, как отнесся к его беспокойству о ней здравомыслящий доктор Гроган.

— Но, уважаемая мисс Вудраф, если всякая женщина; обманутая бессовестным представителем того пола, к которому я принадлежу, станет вести себя подобно вам, боюсь, что вся страна скоро переполнится отверженными.

— Так оно и есть.

— Бог с вами, что за вздор вы говорите.

— Отверженными, которые из страха это скрывают.

Он посмотрел на ее спину и вспомнил другие слова доктора Грогана о больных, которые отказываются принимать лекарство. Все же он решил сделать еще одну попытку. Он наклонился вперед, сжав на коленях руки.

— Я очень хорошо понимаю, какими несчастливыми должны казаться иные обстоятельства человеку умному и образованному. Но разве эти же качества не помогут преодолеть...

Она неожиданно встала и подошла к краю утеса. Чарльз поспешно двинулся за ней и остановился рядом, готовый схватить ее за руку; он видел, что его жалкие советы произвели действие прямо противоположное тому, на которое были рассчитаны. Сара опять смотрела в морскую даль, и по выражению ее лица Чарльз догадался, что она поняла свою ошибку: он всего-навсего пустой болтун, изрекающий банальные истины. В ней действительно было что-то мужское. Чарльз почувствовал себя старой бабой, и это чувство не доставило ему удовольствия.

— Простите. Быть может, я слишком многого от вас требую. Но я только хотел вам помочь.

В ответ на извинение она чуть наклонила голову, но потом снова обратила взор к морю. Оба стояли теперь на виду у всякого, кто появился бы внизу среди деревьев.

— И прошу вас, отойдите немного назад. Здесь небезопасно.

Она обернулась и посмотрела на него. И снова взгляд ее обескураживающе откровенно говорил о том, что от нее не скрылась истинная причина его просьбы. Мы можем порой распознать в лице современника выражение минувшего века, но нам никогда не удастся распознать выражение века грядущего. Мгновенье; потом, пройдя мимо него, она вернулась обратно к боярышнику. Чарльз остался стоять посреди маленькой арены.

— Все, что вы рассказали, лишь подтверждает мое прежнее мнение. Вам следует оставить Лайм.

— Оставив его, я оставлю здесь свой позор. Тогда я погибла.

Она протянула руку и дотронулась до ветки боярышника. Чарльз не мог бы сказать наверное, но ему показалось, что она нарочно прижала к ветке палец. В ту же секунду на пальце выступила алая капля крови. Сара несколько мгновений смотрела на нее, потом достала из кармана платок и незаметно вытерла кровь.

Помолчав, он неожиданно спросил:

— Доктор Гроган предлагал вам помощь прошлым летом. Почему вы отказались? — В ответ она метнула на него укоризненный взгляд, однако на этот раз Чарльз был к нему подготовлен. — Да, я советовался с ним. Вы не станете утверждать, что я не имел на то права.

Она снова отвернулась.

— Нет. Вы имели право.

— Тогда вы должны мне ответить.

— Потому, что я не просила у него помощи. Я не питаю к нему дурных чувств. Я знаю, что он хотел мне помочь.

— Он дал вам тот же совет, что и я?

— Да.

— В таком случае осмелюсь напомнить о вашем обещании мне.

Она ничего не ответила. Но это и было ответом. Чарльз подошел к ней. Она стояла, пристально глядя на ветки боярышника.

— Мисс Вудраф?

— Теперь, когда вы знаете правду, вы не отказываетесь от вашего совета?

— Ни в коем случае.

— Значит, вы прощаете мне мой грех?

Такого оборота Чарльз никак не ожидал.

— Вы слишком высоко цените мое прощение. Важно, чтобы вы сами простили себе свой грех. А здесь вы никогда не сможете это сделать.

— Вы не ответили на мой вопрос, мистер Смитсон.

— Я не возьму на себя смелость судить о том, что может решать один лишь Творец. Но я убежден, мы все убеждены, что вы искупили свою вину. Вы заслужили прощение.

— И меня можно предать забвению.

Холодная безнадежность ее тона вначале его удивила. Потом он улыбнулся.

— Если вы хотите этим сказать, что здешние ваши друзья не намерены оказать вам практическое содействие...

— Я не хотела этого сказать. Я не сомневаюсь в их добрых намерениях. Но я как этот боярышник, мистер Смитсон. Пока он растет здесь в одиночестве, его никто не порицает. Чтобы оскорбить общественные приличия, ему надо прогуляться по Брод-стрит.

Чарльз усмехнулся.

— Но уважаемая мисс Вудраф, не станете же вы утверждать, что ваш долг — оскорблять общественные приличия. Если, конечно, я вас правильно понял, — добавил он.

— А разве общество не желает снова обречь меня на одиночество?

— Теперь вы ставите под сомнение справедливость законов бытия.

— А это запрещено?

— Нет, но это бесплодно.

Она покачала головой.

— Плод есть, только он горек.

Однако она сказала это не в укор ему, а с глубокой печалью, как бы про себя. Волна ее исповеди, отхлынув, оставила в душе Чарльза ощущение невосполнимой утраты. Он осознал, что прямоте ее взгляда соответствует прямота мысли и речи, и если прежде его поразило, что она претендует на интеллектуальное с ним равенство (а следовательно, восстает против мужского превосходства), то теперь он понял, что речь идет не столько о равенстве, сколько о близости, подобной нагоде, об откровенности мысли и чувства, какой он до сих пор не мог себе представить в отношениях с женщиной.

Ход его мысли был не субъективным, а объективным: неужто не найдется свободного мужчины, у которого достало бы ума понять, что перед ним поистине необыкновенная женщина. Чувство это не имело ничего общего с мужской завистью, скорее он чувствовал себя так, словно потерял близкого человека. Он быстро протянул руку и, как бы желая утешить Сару, коснулся

ее плеча, но так же поспешно отвернулся. Некоторое время оба молчали.

Словно почувствовав, что он недоволен собой, она сказала:

— Так вы полагаете, что мне следует уехать?

Он сразу почувствовал облегчение и стремительно к ней обернулся.

— Прошу вас, уезжайте. Новое окружение, новые лица... И пусть вас не смущают связанные с этим расходы. Мы ожидаем только вашего слова, чтобы предложить вам помощь.

— Могу я несколько дней подумать?

— Если это кажется вам необходимым. — Воспользовавшись случаем, он ухватился за возможность восстановить нормальное положение вещей, которое ее присутствие постоянно нарушало. — Я предложил бы поручить все миссис Трэнтер. Если позволите, я позабочусь о том, чтобы она взяла на себя необходимые издержки.

Сара опустила голову; казалось, она вот-вот опять заплачет.

— Я не заслуживаю такой доброты. Я... — пробормотала она.

— Ни слова более. Едва ли можно найти лучшее употребление деньгам.

Чарльза на мгновение охватило торжество. Все произошло так, как предсказывал Гроган. Исповедь принесла исцеление, по крайней мере надежду на него. Он повернулся, чтобы взять свою палку, прислоненную к кремневой глыбе.

— Мне следует пойти к миссис Трэнтер?

— Думаю, что это будет лучше всего. Разумеется, нет нужды рассказывать ей о наших встречах.

— Я ничего не скажу.

Он уже видел всю сцену: свой вежливый, но весьма умеренный интерес, затем сдержанная, но настойчивая решимость взять на себя любые расходы. Пускай потом Эрнестина дразнит его сколько угодно — он облегчит этим свою совесть. Он улыбнулся Саре.

— Ну вот, вы и открыли мне вашу тайну. Я полагаю, что теперь вам станет легче и во многих других отношениях. Вы наделены от природы значительными достоинствами. Не ждите от жизни одних бед. Настаёт день, когда эти несчастные годы покажутся вам не более мрачными, чем вон то облачко над Чезилской косой. Над вами засияет яркое солнце, и вы улыбнетесь своим минувшим горестям. — Ему показалось, что он уловил за сомнением в ее глазах какой-то проблеск: словно она на минуту стала ребенком, который в слезах сопротивляется попыткам его успокоить и в то же время ждет какой-нибудь утешительной выдумки или нравоучения. — Он улыбнулся еще шире, потом небрежно заметил:

— А теперь не пора ли нам в обратный путь?

Казалось, она хочет что-то сказать — без сомнения, еще раз уверить его в своей признательности, но он всем своим видом дал ей понять, что торопится, и она, последним долгим взглядом посмотрев ему в глаза, двинулась вперед.

Она шла вниз так же легко, как и наверх. Чарльз поглядел ей в спину, и в нем зашевелилось сожаление.

Они уже никогда больше так не встретятся... Сожаление и облегчение. Необыкновенная молодая женщина. Он ее не забудет; некоторым утешением служило то, что ему это и не удастся. Отныне его соглядатаем станет миссис Трэнтер.

Они спустились до подножья нижнего утеса, миновали первый туннель из плюща, пересекли прогалину, углубились во второй зеленый коридор — и вдруг!

Снизу, с главной дороги через террасы, донесся подавленный взрыв смеха. Он прозвучал как-то странно: казалось, некая лесная фея — ибо смех, несомненно, был женский — долго наблюдала за их тайным свиданием и теперь потешается над двумя глупцами, вообразившими, что их никто не видит.

Чарльз и Сара остановились, словно сговорившись. Возникшее было у него чувство облегчения тотчас же обратилось в панический испуг. Однако завеса из плюща была достаточно густой, а смех раздался в двух-трех сотнях ярдов; заметить их было невозможно. Разве только когда они начнут спускаться по склону... Мгновенье... затем Сара быстро поднесла палец к губам, показывая ему, чтобы он не двигался с места, а сама прокралась к выходу из туннеля. Чарльз следил, как она осторожно высовывается и смотрит в сторону тропинки. Затем она обернулась и поманила его к себе, жестом давая понять, чтобы он двигался как можно тише. И в ту же секунду смех раздался снова, на этот раз не так громко, но гораздо ближе. Фея, очевидно, сошла с тропы и теперь взбиралась по заросшему ясенями склону им навстречу.

Чарльз осторожно приблизился к Саре, стараясь поменьше грохотать своими злосчастными башмаками. От страшного смущения лицо его залилось краской. Никакие оправдания не помогут. Застать его с Сарой — все равно что поймать *in flagrante delicto*¹.

Он подошел туда, где она стояла и где плющ, к счастью, рос гуще всего. Сара отвернулась от незваных пришельцев и, прислонившись спиной к стволу, опустила глаза, словно молчаливо признавала за собой вину в том, что поставила их обоих в такое неприятное положение. Чарльз посмотрел вниз сквозь листву, и кровь застыла у него в жилах. Прямо к ним, словно в поисках того же укрытия, по заросшему ясенями склону поднимались Сэм и Мэри. Сэм обнимал девушку за плечи. Шляпы оба держали в руках. На Мэри было зеленое уличное платье, подаренное Эрнестиной — во всяком случае, в последний раз Чарльз видел его на Эрнестине, — а головой, слегка откинутой назад, она касалась щеки Сэма. Что это молодые любовники, было так же ясно, как то, что эти старые деревья — ясени, а их эротическая непосредственность равнялась свежести зеленых апрельских всходов, по которым они ступали.

Не спуская с них глаз, Чарльз подался назад. Он увидел, как Сэм поворачивает к себе голову девушки и как он ее целует. Она подняла руку и обняла его, потом робко отстранилась, и они немного постояли, держась за руки. Сэм повел ее туда, где между деревьев каким-то образом вырос клочок травы. Мэри села и откинулась назад, а Сэм присел рядом, глядя на нее сверху; потом

отвел с ее лица волосы, наклонился и нежно поцеловал в закрытые глаза.

Чарльза вновь охватило смущение. Он взглянул на Сару: знает ли она, кто это такие? Но она смотрела на росший у ее ног папоротник, словно всего лишь пережидала здесь ливень. Прошла минута, еще одна. Замешательство сменилось облегчением — было ясно, что слуги заняты друг другом гораздо больше, нежели тем, что происходит вокруг. Он еще раз взглянул на Сару. Она теперь тоже наблюдала из-за дерева, за которым стояла. Потом повернулась, не поднимая глаз. И вдруг неожиданно на него посмотрела.

Мгновенье.

И тут она сделала нечто столь же странное, столь же вызывающее, как если бы сбросила с себя одежду.

Она улыбнулась.

Так много заключала в себе эта улыбка, что в первый миг Чарльз недоуменно на нее воззрился. Вот уж поистине нашла время! Словно Сара нарочно ждала такой минуты, чтобы сразить его своей насмешкой, показать, что печаль еще не совсем ее поглотила. И в этих огромных глазах, таких сумрачных, печальных и открытых, мелькнула искорка веселья — еще одна сторона ее натуры, вероятно, хорошо знакомая в былые дни малюткам Полю и Виргинии, которой, однако, до сих пор еще не достаивался Лайм.

Где теперь ваши притязания, говорили эти глаза, эти слегка изогнутые губы, где ваше благородное происхождение, ваша ученость, ваши светские манеры, ваши общественные установления? Более того — в ответ на эту улыбку нельзя было ни нахмуриться, ни сделать непроницаемое лицо, ответить на нее можно было лишь улыбкой, ибо она прощала Сэма и Мэри, прощала все и вся, и с тонкостью, недоступной рациональному анализу, отрицала все, что до сих пор произошло между нею и Чарльзом. Улыбка эта требовала более глубокого понимания, признания равенства, переходящего в близость более тесную, чем та, которую можно было сознательно допустить. Чарльз, во всяком случае, сознательно на эту улыбку не ответил, он лишь поймал себя на том, что улыбается, пусть только одними глазами, но все же улыбается. Более того, что он взволнован, потрясен до глубины души и что волнение его слишком смутно и неопределенно, чтобы назвать его сексуальным; взволнован, как человек, который, шагая вдоль бесконечной высокой стены, приходит наконец к заветной двери... лишь для того, чтобы найти ее запертой.

Так они стояли несколько мгновений — женщина, которая была этой дверью, и мужчина, у которого не было от нее ключа. Потом Сара снова опустила глаза. Улыбка погасла. Оба долго молчали. Чарльзу открылась истина: он действительно занес было ногу над пропастью. На миг ему почудилось, что он сейчас в нее бросится — должен броситься. Он знал, что стоит ему протянуть руку, и он встретит не сопротивление, а лишь страстную взаимность чувства. Кровь еще сильнее прилила к его лицу, и он наконец прошептал:

— Мы не должны больше видеться наедине.

Не поднимая головы, она едва заметно кивнула в знак согласия; затем почти сердитым движением

¹ На месте преступления (лат.).

отвернулась — так, чтобы он не видел ее лица. Он снова посмотрел сквозь листву. Голова и плечи Сэма склонились над невидимой Мэри. Мгновения тянулись бесконечно долго, но Чарльз продолжал наблюдать, мысленно низвергаясь в пропасть, едва ли сознавая, что он подглядывает, и с каждой минутой в него все глубже проникал тот самый яд, которому он пытался противостоять.

Спасла его Мэри. Внезапно оттолкнув Сэма, она со смехом пустилась вниз по склону обратно к тропе; на секунду задержалась, повернула к Сэму свое задорное личико, потом подобрала подол и ринулась вниз, мелькая нижней юбкой — узкой алой полоской под изумрудным платьем — между фиалок и пролесок. Сэм кинулся за ней. Их фигуры постепенно уменьшались, два ярких пятна — зеленое и синее — сверкнули среди серых стволов и исчезли, смех оборвался коротким вскриком, и все смолкло.

Прошло пять минут, в продолжение которых Чарльз и Сара не произнесли ни слова. Чарльз по-прежнему не спускал глаз с роши на холме, словно это пристальное наблюдение было чрезвычайно важно. На самом деле он, разумеется, хотел лишь одного — не смотреть на Сару. Наконец он заговорил.

— Теперь вам лучше уйти. — Она наклонила голову. — Я подожду полчаса.

Она опять наклонила голову и прошла мимо него. Глаза их больше не встретились.

Только дойдя до ясеней, она обернулась. Разглядеть его лицо она уже не могла, но, должно быть, знала, что он смотрит ей вслед. И взгляд ее опять пронзил его, словно клинок. Потом она легким шагом пошла дальше и скрылась среди деревьев.

22

И я бежал когда-то без оглядки
От бремени сердечных мук своих;
Мечтал, чтоб пламень этой лихорадки
Во мне угас, смирился и затих;

Я славил тех, кому хватает воли
И резкой беспощадности меча,
Кто может, глух к чужой беде и боли,
Не сомневаться и рубить плеча;

И только позже понял: свойства эти —
Решимость, сила, как ни назови,—
Не часто нам встречаются на свете,
Но все же чаще истинной любви.

Мэтью Арнольд. Прощание (1852)

Когда Чарльз наконец двинулся обратно в Лайм, все его мысли представляли собой вариации одной старой как мир популярной мужской темы: «Ты играешь с огнем, голубчик». То есть я хочу сказать, что именно таково было содержание его мыслей, если выразить их в словах. Он вел себя очень глупо, но ему удалось уйти безнаказанным. Он чудовищно рисковал, но остался цел и невредим. И теперь, когда далеко внизу показалась большая каменная клешня Кобба, его охватил восторг.

Да и в чем он должен так уж сурово себя обвинять? С самого начала он ставил себе исключительно

возвышенные цели; он излечил ее от безумия, а если какие-нибудь низменные побуждения хоть на минутку угрожали проникнуть в его крепость, они были подобны мятному соусу к свежему барашку. Конечно, он будет виноват, если теперь не уйдет подальше от огня, и притом окончательно и бесповоротно. Иначе и быть не может. Ведь в конце концов он не какая-нибудь жалкая мошка, ослепленная свечой, а высокоинтеллектуальная особь, одна из самых приспособленных, и притом наделенная безграничной свободой воли. Не будь у него столь надежной опоры, разве рискнул бы он пуститься в столь опасное плаванье? Я злоупотребляю метафорами, но таков уж был ход мыслей Чарльза.

Итак, опираясь на свободу воли с той же силой, что и на свою ясеневую палку, он спустился с холма в город. Всякое физическое влечение к этой девушке он отныне беспощадно подавит — на то у него свобода воли. Все дальнейшие просьбы о личном свидании он будет категорически отвергать — на то у него свобода воли. Все ее дела он поручит миссис Трэнтер — на то у него свобода воли. И потому он может, даже обязан, и впредь держать Эрнестину в неведении — на то у него свобода воли. К тому времени, когда впереди показался «Белый Лев», свобода воли привела его в такое состояние, что он начал восхищаться самим собой и ему осталось только поздравить себя с успешным переводом Сары в разряд явлений своего прошлого.

Замечательная молодая женщина, замечательная молодая женщина. И совершенно загадочная. Он решил, что в этом и состоит — или, вернее, состояла — ее привлекательность. Никогда не знаешь, чего он нее ожидать. Он не понимал, что она обладала двумя качествами, столь же типичными для англичан, сколь его собственная смесь иронии и подчинения условностям. Я имею в виду страстность и воображение. Первое качество Чарльз, быть может, начал смутно осознавать, второе — нет. Да и не мог, потому что на эти оба качества Сары эпоха наложила запрет, приравняв первое к чувственности, а второе — просто к причудам. Это двойное уравнение, посредством которого Чарльз отмахнулся от Сары, как раз и составляло его величайший изъян — и здесь он поистине дитя своего века.

Теперь предстояла еще встреча с жертвой обмана, с живым укором, то есть с Эрнестиной. Но, возвратившись в гостиницу, Чарльз узнал, что на помощь ему пришла родня.

Его ожидала телеграмма. Она была из Винзиэтта от дяди. «Безотлагательные дела» требовали его немедленного приезда. Боюсь, что, прочитав телеграмму, Чарльз улыбнулся, он даже чуть было не расцеловал оранжевый конверт. Телеграмма на время избавляла его от затруднений, от необходимости и дальше прибегать ко лжи в форме умолчания. Она явилась как нельзя более кстати. Он навел справки... Поезд отправляется ранним утром следующего дня из Эксетера, в то время ближайшей к Лайму железнодорожной станции, что давало ему отличный предлог тотчас же уехать и провести там ночь. Он велел нанять самую быстроходную рессорную двуколку. Он сам будет править лошадью. Ему очень хотелось как можно скорее

отправиться в путь, ограничившись лишь запиской к миссис Трэнтер. Но это было бы слишком трусливо. Поэтому он взял телеграмму и перешел улицу.

Добрая старушка страшно взволновалась, ибо от телеграмм она ожидала только дурных известий. Эрнестина, менее суеверная, просто рассердилась. Она сочла, что со стороны дяди Роберта «очень стыдно» таким способом разыгрывать из себя великого визиря. Она не сомневалась, что не случилось ровно ничего, что это просто прихоть, стариковский каприз, хуже того — что дядя завидует их молодой любви.

Она, разумеется, уже побывала в Винзиезде вместе с родителями, и сэр Роберт ей совсем не понравился. Возможно, потому, что ее там внимательно изучали; или потому, что дядя, потомок многих поколений сельских сквайров, обладал — по меркам буржуазного Лондона — весьма дурными манерами (хотя менее суровый критик назвал бы их приятно эксцентричными); возможно, потому, что она сочла дом просто старым сараем с ужасающе старомодной мебелью, картинами и портретами; возможно, еще и потому, что, как она выразилась, дядюшка до того обожал Чарльза, а Чарльз был до того раздражающе послушным племянником, что она положительно начала его ревновать; но главным образом потому, что она испугалась.

Познакомиться с нею пригласили дам из соседних имений. Хотя Эрнестина отлично знала, что ее отец может скупить всех их отцов и мужей со всеми потрохами, ей казалось, что на нее смотрят свысока (на самом деле ей просто завидовали) и незаметно подпускают ей шпильки. К тому же ей отнюдь не улыбалась перспектива навсегда обосноваться в Винзиезде, хоть это и позволяло помечтать по меньшей мере об одном способе распорядиться по своему усмотрению частью ее огромного приданого — а именно, избавиться от всех этих нелепых, украшенных завитушками деревянных кресел (настолько древних, что им вообще цены не было), от мрачных буфетов (эпохи Тюдоров), от траченных молью обоев (гобеленов) и потускневших картин (в том числе двух кисти Клода Лоррена и одной Тинторетто), которые не снискали ее одобрения.

Поведать Чарльзу о своей неприязни к дяде она не осмелилась, а на прочие объекты своего недовольства намекала скорее с юмором, нежели с сарказмом. Едва ли следует ее за это винить. Подобно многим дочерям богатых родителей — и в прежние времена, и теперь — она не отличалась никакими талантами, кроме общепринятого хорошего вкуса... то есть умела потратить большие суммы денег у портных, модисток и в мебельных лавках. Это была ее стихия, а так как другой у нее не было, она предпочитала, чтобы в эти пределы никто не вторгался.

Чарльз страшно спешил и потому смирился с молчаливым упреком и капризно надутыми губками Тины и уверил ее, что примчится обратно столь же незамедлительно, как сейчас уезжает. Он, по правде говоря, догадывался, для чего так срочно понадобился дяде; на это уже робко намекали в Винзиезде, когда он был там с Эрнестиной и ее родителями... чрезвычайно робко, потому что дядя был застенчив. Речь шла о том, чтобы Чарльз со своей молодой женой поселился у него — они

могли бы отделать для себя восточный флигель. Чарльз знал, что дядя имеет в виду не одни лишь наезды от случая к случаю; он хотел, чтобы Чарльз поселился там постоянно и начал учиться управлять имением. Однако жизнь в доме дяди прельщала Чарльза не больше, чем Эрнестину, хотя он и не сознавал, до какой степени ей все это чуждо. Он просто был уверен, что ничего хорошего из этого не получится, что дядя будет колебаться между обожанием и неодобрением... а Эрнестине нелегко будет привыкнуть к Винзиезду — она слишком молода, и кроме того, ей не позволят стать в нем полновластной хозяйкой. Но дядя по секрету дал ему понять, что Винзиезд слишком велик для одинокого холостяка и что, возможно, ему будет лучше в менее поместительном доме. По соседству не было недостатка в подходящих домах меньших размеров, а некоторые из них даже составляли часть имения и сдавались в аренду. Один такой особняк елизаветинских времен, расположенный в деревне Винзиезд, был виден из окон большого господского дома.

Чарльз подумал, что старик устыдился своего эгоизма и позвал его в Винзиезд, чтобы предложить ему либо этот особняк, либо большой дом. И то и другое он счел бы вполне приемлемым. Ему было все равно, лишь бы не жить под одной крышей с дядей. Он был уверен, что старого холостяка можно будет сплавить в любой из этих домов, ибо сейчас он подобен нервному наезднику, который подъехал к препятствию и хочет, чтобы ему помогли это препятствие преодолеть.

Поэтому в конце краткой трехсторонней конференции на Брод-стрит Чарльз испросил разрешения сказать Эрнестине несколько слов наедине, и как только за тетей Трэнтер закрылась дверь, поделился с ней своими подозрениями.

— Но почему он не сказал об этом раньше?

— Дорогая Тина, боюсь, что это дядя Боб в своем репертуаре. Но скажите, что мне ему отвечать?

— А какой дом предпочитаете вы?

— Любой, который вы захотите. Или, с таким же успехом, ни тот ни другой. Хотя он, конечно, обидится...

Эрнестина пробормотала сдержанное проклятье по адресу богатых дядюшек. Тем не менее перед ее умственным взором все же возникла картина: она, леди Смитсон, в Винзиезде, обставленном по ее вкусу, — быть может, потому, что сейчас она сидела в довольно тесной непарадной гостиной тети Трэнтер. В конце концов, титул нуждается в оправе. А если отвратительного старикашку благополучно выдворить из дома... и к тому же он стар. И ведь надо считаться с дорогим Чарльзом. И с родителями, которым она так обязана...

— Этот домик в деревне — не тот, мимо которого мы проезжали?

— Да, вы, наверно, помните, у него такие живописные старинные фронтоны...

— Живописные, если смотреть на них снаружи.

— Конечно, его надо будет привести в порядок.

— Как он называется?

— Местные жители называют его Маленький дом. Но это всего лишь в виде сравнения с большим. Я уже много лет в нем не был, но, по-моему, он гораздо просторнее, чем кажется.

— Знаю я эти старые дома. Множество жалких комнатушек. По-моему, все елизаветинцы были карликами.

Чарльз улыбнулся (хотя ему следовало бы внести поправку в ее странные представления об архитектуре эпохи Тюдоров) и обнял ее за плечи.

— В таком случае сам Винзиэтт?

Она посмотрела ему прямо в глаза из-под своих изогнутых бровей.

— Вы этого хотите?

— Вы знаете, что он для меня значит.

— Я могу отделать его по своему вкусу?

— По мне, так вы можете сравнять его с землей и возвести на его месте второй «Хрустальный дворец».

— Чарльз! Перестаньте шутить!

Она высвободилась из его объятий, но вскоре в знак прощения подарила ему поцелуй, и он с легким сердцем удалился. Что до Эрцестины, то она поднялась наверх и достала свою коллекцию каталогов торговых фирм.

23

Стал буквым стволom
Тот, кто гостил за дедовым столом...
Томас Гарди. Превращения

Коляска, верх которой откинули, чтобы Чарльз мог насладиться весенним солнцем, миновала сторожку привратника. У открытых ворот его встретил молодой Хокинс, а старая миссис Хокинс лучилась застенчивой улыбкой, стоя в дверях коттеджа. Чарльз велел младшему кучеру, который встречал его в Чиппенхеме, а теперь сидел на козлах рядом с Сэмом, на минутку остановиться. Между этой старушкой и Чарльзом установились особые отношения. Годовалым ребенком лишившись матери, Чарльз в детстве вынужден был довольствоваться различными ее заместительницами, и когда он гостил в Винзиэтте, привязался к вышеупомянутой миссис Хокинс, которая в те дни значилась старшей прачкой, но по своим заслугам и популярности на нижних этажах дома уступала одной только августейшей экономке. Возможно, симпатия Чарльза к миссис Трэнтер была отзвуком его ранних воспоминаний об этой простой женщине — настоящей Бавкиде, — которая теперь приковывалась к садовым воротам, чтобы с ним поздороваться.

Ему пришлось отвечать на жадные расспросы о предстоящей свадьбе и в свою очередь спросить об ее детях. Старушка, казалось, беспокоилась о нем больше обыкновенного, и в глазах ее он заметил ту тень жалости, какую добросердечные бедняки порой питают к привилегированным богачам. Издавна знакомая ему жалость, которой простодушная, но умная крестьянка одаряла бедного сиротку, оставшегося на попечении нечестивого отца — ибо до Винзиэтта доносились темные слухи о том, как его родитель наслаждается радостями жизни в Лондоне. Сейчас это молчаливое сочувствие казалось на редкость неуместным, но Чарльза оно даже позабавило. Все это происходило от любви к нему; да и остальное — и аккуратный садик при

сторожке, и раскинувшийся за ним парк, и купы старых деревьев, каждая из которых носила свое, нежно любимое название — Посадка Карсона, Курган Десяти Сосен, Рамильи (деревья, посаженные в честь этой битвы), Дуб с Ильмом, Роцца Муз и множество других, знакомых Чарльзу не хуже названий частей его тела, и большая липовая аллея, и чугунная ограда — словом, все имение, казалось, в этот день наполнилось любовью к нему. Он улыбнулся старой прачке.

— Мне пора. Дядя меня ждет.

На лице миссис Хокинс мелькнуло такое выражение, словно она не позволит так просто от себя отделаться, но прислуга взяла верх над заместительницей матери. Она удовлетворилась тем, что погладила его руку, лежавшую на дверце кареты.

— Да, мистер Чарльз. Он вас ждет.

Кучер легонько стегнул коренника по крупу, и коляска, поднявшись по невысокому склону, въехала в узорчатую тень еще не успевших распуститься лип. Вскоре подъездная дорожка выровнялась, хлыст снова лениво стегнул гнедую по задней ноге, и обе лошади, вспомнив, что ясли уже близко, резвой рысью пустились вперед. Быстрый веселый скрежет стянутых железными шинами колес, легкое поскрипывание плохо смазанной оси, вновь ожившая привязанность к миссис Хокинс, уверенность в том, что скоро он будет по-настоящему владеть этим пейзажем, — все это пробудило в Чарльзе невыразимое ощущение счастливой судьбы и порядка, слегка поколебленное его пребыванием в Лайме. Этот клочок Англии и он, Чарльз, составляют единое целое, у них общие обязанности, общая гордость, общий вековой уклад. Коляска миновала группу дядиных работников. Кузнец Эбенезер стоял возле переносной жаровни и колотил молотком по согнутой перекладине чугунной ограды, которую он выпрямлял. Позади него коротали время два лесничих и древний старик, который все еще носил смок и допотопную шляпу времен своей юности. Это был старый Бен, отец кузнеца Эбенезера, ныне один из десятка престарелых пенсионеров имения, которые с разрешения хозяина по-прежнему жили здесь и пользовались правом разгуливать по его землям так же беспрепятственно, как и он сам; нечто вроде живой картотеки истории Винзиэтта за последние восемьдесят лет, к чьей помощи до сих пор нередко прибегали.

Все четверо повернулись к коляске и приветствовали Чарльза, подняв руки и шляпы. Чарльз, как истый феодальный владыка, милостиво махнул им в ответ рукой. Он знал всю их жизнь так же, как они знали его жизнь. Он даже знал, как погнулась перекладина — знаменитый Иона, дядин любимый бык, атаковал ландо миссис Томкинс. «Так ей и надо, — говорилось в дядином письме, — в другой раз не будет мазать губы красной краской». Чарльз улыбнулся, вспоминая, как в своем ответе сухо осведомился, почему такая интересная вдова одна без всякой спутницы ездит в Винзиэтт...

Но восхитительней всего было возвращение к бесконечному и неизменному сельскому покою. Необъятные весенние луга на фоне Уилтширских холмов, стоящий вдаль дом, выкрашенный в серый и бледно-желтый цвета, гигантские кедры и знаменитые пурпуристые буки (все пурпуристые буки знамениты) возле

западного флигеля, почти незаметный ряд конюшен с деревянной башенкой и часами — белым восклицательным знаком среди ветвей. Эти часы на конюшне были неким символом, и хотя — несмотря на телеграмму — в Винзиэте никогда не случалось ничего безотлагательного и зеленые сегодня тихо вливались в зеленые завтра, а единственным реальным временем было солнечное, и хотя, за исключением сенокоса и жатвы, здесь всегда был избыток рабочих рук при недостатке работы, ощущение порядка было почти машинальным, так глубоко оно укоренилось, так велика была уверенность, что он нерушим и всегда пребудет столь же благостным и божественным. Одному только небу (и Милли) известно, что в сельской местности встречалась такая же отвратительная нищета и несправедливость, как в Шеффилде и Манчестере, но в окрестностях больших английских поместий их не было — возможно, всего лишь потому, что помещики любили ухоженных крестьян не меньше, чем ухоженные поля и домашний скот. Их сравнительно хорошее обращение со своими многочисленными работниками было, возможно, всего лишь побочным продуктом их любви к красивым пейзажам, но подчиненные от этого только выигрывали. Мотивы современного «разумного» управления, вероятно, не более альтруистичны. Одни добрые эксплуататоры интересовались Красивым Пейзажем, другие интересуются Высокой Производительностью.

Когда коляска выехала из липовой аллеи и огороженные пастбища сменились более ровными лужайками и кустарниками, а подъездная дорожка изогнулась длинной дугой, ведущей к фасаду дома — постройке в классическом стиле Палладио, не слишком безжалостно исправленной и дополненной молодящимся Уайэтом, — Чарльз почувствовал, что и в самом деле вступает во владение своим наследством. Ему казалось, что это объясняет всю его предыдущую праздную жизнь, его заигрывание с религией, с наукой, с путешествиями; он все время ждал этой минуты... этого, так сказать, призыва взойти на трон. Нелепое приключение на террасах было забыто. Бесконечные обязанности, сохранение этого мира и порядка ждали его впереди, подобно тому как они ждали стольких молодых представителей его семьи в прошлом. Долг — вот его настоящая жена, его Эрнестина и его Сара, и он выпрыгнул из кареты ей навстречу так же радостно, как сделал бы мальчик вдвое его моложе.

Однако его встретила пустая прихожая. Он бросился в гостиную, надеясь, что там его с улыбкой ожидает дядя. Но и эта комната была пуста. Что-то странное в ней на мгновение озадачило Чарльза. Потом он улыбнулся. В гостиной появились новые гардины и новые ковры — да, да, ковры тоже были новые. Эрнестина была бы недовольна, что ее лишили права выбора, но можно ли придумать более ясное доказательство, что старый холостяк намеревается изящно передать им в руки факел?

Однако изменилось и что-то еще. Прошло несколько секунд, прежде чем Чарльз понял, что именно. Бесмертная дрофа была изгнана, и на месте ее стеклянной витрины теперь красовалась горка с фарфором.

Но он все еще не догадывался.

Равным образом он не догадывался — да, впрочем, и не мог догадаться, — что произошло с Сарой, когда она рассталась с ним накануне. Быстро пройдя лес, она достигла места, откуда обычно сворачивала на верхнюю тропинку, с которой ее не могли увидеть обитатели сыроварни. Наблюдатель мог бы заметить, что она замешкалась, а если бы он еще был наделен таким же острым слухом, как и Сара, то догадался бы почему: со стороны сыроварни, футов на сто ниже тропы, между деревьями раздавались голоса. Сара молча и неторопливо шагала вперед, пока не подошла к большому кусту остролиста, сквозь который ей была видна задняя стена дома. Некоторое время Сара стояла неподвижно, и по лицу ее никак нельзя было прочесть ее мысли. Потом что-то происходившее внизу возле коттеджа заставило ее шагнуть вперед. Но вместо того, чтобы скрыться в лесу, она смело вышла из-за куста и двинулась вперед по тропинке, соединявшейся с проезжей дорогой над сыроварней. Таким образом, она появилась прямо перед глазами двух женщин, стоявших у дверей, одна из которых, с корзиной в руках, по-видимому, собралась уходить.

На тропинке появилась одетая в черное Сара. Не глядя вниз на дом и на эти две пары изумленных глаз, она быстро пошла вперед и скрылась за живой изгородью, окружавшей поле над сыроварней.

Одна из женщин, стоявших внизу, была жена сыровара. Вторая — миссис Фэрли.

24

Я однажды слышал, будто типичным викторианским присловьем было: «Не забывайте, что он ваш дядя».

Дж. М. Янг. Викторианские очерки

— Это чудовищно. Чудовищно. Я уверена, что он потерял рассудок.

— Он потерял чувство меры. А это не совсем одно и то же.

— Но почему именно сейчас?

— Милая Тина, Купидон известен своим презрением к чужим удобствам.

— Вы прекрасно знаете, что дело вовсе не в Купидоне.

— Боюсь, что именно в нем. Старые сердца наиболее чувствительны.

— Это все из-за меня. Я знаю, что я ему не нравлюсь.

— Полноте, что за чепуха.

— Совсем не чепуха. Я отлично знаю, что для него я дочь суконщика.

— Милая моя девочка, возьмите себя в руки.

— Я сержусь только оттого, что речь идет о вас.

— В таком случае предоставьте мне сердиться самому.

Наступило молчание, которое дает мне возможность сообщить, что вышеозначенный разговор происходил в непарадной гостиной миссис Трэнтер. Чарльз стоял у окна, спиной к Эрнестине, которая только что плакала, а теперь сидела и гневно мяла кружевной платочек.

— Я знаю, как вы любите Винзиэтт.

О том, что Чарльз собирался ответить, можно лишь строить догадки, ибо в эту минуту дверь отворилась и на пороге показалась радостно улыбающаяся миссис Трэнтер.

— Вы так скоро вернулись!

Было половина десятого вечера, а утром Чарльз еще только подъезжал к Винзиэтту.

Чарльз печально улыбнулся.

— Мы очень быстро... покончили с делами.

— Произошло нечто ужасное и постыдное.

Миссис Трэнтер с тревогой взглянула на трагическое и возмущенное лицо племянницы, которая продолжала:

— Чарльза лишили наследства!

— Лишили наследства?

— Эрнестина преувеличивает. Дядя просто решил жениться. Если ему посчастливится и у него родится сын и наследник...

— Посчастливится! — Эрнестина негодуя сверкнула глазами на Чарльза.

Миссис Трэнтер в смятении переводила взгляд с одного лица на другое.

— Но... кто его невеста?

— Ее зовут миссис Томкинс. Она вдова.

— И достаточно молодая, чтобы родить ему дюжину сыновей.

— Едва ли так много, — улыбнулся Чарльз, — но она достаточно молода, чтобы родить одного.

— Вы ее знаете?

Эрнестина не дала ему ответить.

— Вот это-то как раз и постыдно. Всего два месяца назад дядюшка в письме к Чарльзу издевался над этой женщиной, а теперь он перед нею пресмыкается.

— Дорогая Эрнестина!

— Я не хочу молчать! Это уж слишком. Все эти годы...

Чарльз досадливо вздохнул и обратился к миссис Трэнтер.

— Сколько я понимаю, она из весьма почтенной семьи. Ее муж командовал гусарским полком и оставил ей порядочное состояние. Нет никаких оснований подозревать ее в корыстных целях.

Испепеляющий взгляд, брошенный на него Эрнестиной, ясно свидетельствовал о том, что, по ее мнению, для этого есть все основания.

— Я слышала, что она весьма привлекательна.

— Она наверняка любит охотиться с собаками.

Чарльз мрачно улыбнулся Эрнестине, которая намекнула как раз на то, за что успела попасть в немилость к чудовищу дяде.

— Наверняка. Но это еще не преступление.

Миссис Трэнтер плюхнулась в кресло и снова принялась переводить взгляд с одного молодого лица на другое, пытаясь, как всегда в подобных случаях, отыскать хоть слабый луч надежды.

— Но ведь он слишком стар, чтобы иметь детей?

Чарльз мягко улыбнулся ее наивности.

— Ему шестьдесят семь лет, миссис Трэнтер. Он еще не слишком стар.

— Зато она ему во внучки годится.

— Милая Тина, единственное, что остается человеку в таком положении, — это сохранять достоинство. Я вы-

нужден просить вас ради меня не сердиться. Мы должны сделать хорошую мину при дурной игре.

Увидев, каких трудов ему стоит скрывать свое огорчение, Эрнестина поняла, что ей следует переменить роль. Она бросилась к нему, схватила его руку и поднесла ее к губам. Он привлек ее к себе, поцеловал в макушку, но обмануть его ей не удалось. Землеройка и мышь, быть может, с виду похожи, но увы — только с виду; и хотя Чарльз не мог найти точное определение тому, как Эрнестина вела себя, услышав столь неприятную и даже скандальную новость, это скорее всего было бы: «не достойно леди». С двуколки, доставившей его из Эксетера, он соскочил прямо у дома миссис Трэнтер и ожидал нежного сочувствия, а отнюдь не ярости, которой Эрнестина хотела подладиться к его оскорбленному самолюбию. Быть может, в том-то и было дело — Эрнестина не поняла, что джентльмен никогда не выкажет гнева, который, по ее мнению, он должен испытывать. Однако в эти первые минуты она слишком уж напоминала дочь суконщика, которой натянули нос при продаже сукна и которая лишена традиционной невозмутимости, этой великолепной способности аристократа ни в коем случае не позволять превратностям судьбы поколебать его принципы.

Он усадил Эрнестину обратно на софу, с которой она прыгнула. Разговор о решении, которое он принял во время своего долгого обратного пути и которое являлось главной причиной его визита, придется, очевидно, отложить на завтра. Он попытался показать, как следует себя вести, но не нашел ничего лучшего, чем непринужденно переменить тему.

— А какие знаменательные события произошли сегодня в Лайме?

Словно вспомнив о чем-то, Эрнестина обратилась к тетке.

— Вы что-нибудь о ней узнали? — и, не дожидаясь ответа, взглянула на Чарльза. — Одно событие действительно произошло. Миссис Поултни уволила мисс Вудраф.

Чарльз почувствовал, что его сердце на секунду перестало биться. Однако если замешательство и выразилось на его лице, оно осталось незамеченным благодаря тому, что тетушке Трэнтер не терпелось сообщить Чарльзу новость, из-за которой ее не было дома, когда он вернулся. Грешницу, по-видимому, уволили накануне вечером, но ей было позволено провести одну последнюю ночь под кровом Мальборохауса. Рано утром за ее сундуком явился носильщик, и ему велели отнести вещи в «Белый Лев». Тут Чарльз в буквальном смысле слова побелел, но следующая фраза миссис Трэнтер тотчас его успокоила.

— Там контора пассажирских карет, — пояснила она.

Омнибусы на линии Дорчестер — Эксетер не спускались с крутого холма в Лайм, и на них надо было пересаживаться в четырех милях к западу на перекрестке лаймской дороги и почтового тракта.

— Но миссис Ханикот говорила с носильщиком. Он утверждает, что мисс Вудраф он не застал. Горничная сказала, что она ушла на рассвете и оставила только распоряжение насчет сундука.

— И с тех пор?..

— Никаких известий.

— Вы виделись со священником?

— Нет, но мисс Тримбл уверяет, что сегодня утром он приходил в Мальборо-хаус. Ему сказали, что миссис Поултни нездорова. Он разговаривал с миссис Фэрли. Ей известно только, что миссис Поултни узнала нечто ужасное, что она была глубоко потрясена и возмущена...

Добрая миссис Трэнтер прервала свою речь. Собственная неосведомленность явно огорчала ее не меньше, чем исчезновение Сары. Она пыталась заглянуть в глаза племяннице и Чарльзу. Что могло случиться? Что могло случиться?

— Ей вообще не следовало поступать в Мальборо-хаус. Это все равно что отдать овцу на попечение волка.— Эрнестина посмотрела на Чарльза, надеясь, что он подтвердит ее мнение.

Он был встревожен гораздо больше, чем можно было заключить по его невозмутимому виду.

— А не может быть, чтобы она...— начал он, обращаясь к миссис Трэнтер.

— Этого-то мы все и опасаемся. Священник послал людей на поиски в сторону Чармута. Она часто гуляет там по утесам.

— И что же?

Они ничего не нашли.

— А те люди, у которых она раньше служила...'

— К ним тоже ходили. Они ничего о ней не знают.

— А Гроган? Разве его не вызвали в Мальборо-хаус? — Ловко воспользовавшись этим именем, Чарльз обернулся к Эрнестине.— В тот вечер, когда мы с ним пили трог... он о ней упоминал. Я знаю, что он озабочен ее положением.

— Мисс Тримбл видела, как в семь часов вечера он разговаривал со священником. Она уверяет, что он был ужасно взволнован. И сердит. Это ее доподлинные слова.

Ювелирная лавка мисс Тримбл была весьма удачно расположена в нижней части Брод-стрит, и благодаря этому к ней стекались все городские новости. Добродушное лицо миссис Трэнтер выразило нечто совершенно невыносимое — крайнюю суровость.

— Я не пойду к миссис Поултни, как бы серьезно она ни заболела.

Эрнестина закрыла лицо руками.

— О, какой ужасный сегодня день!

Чарльз смотрел на обеих дам.

— Не зайди ли мне к Грогану?

— О Чарльз, что вы можете сделать? На поиски уже послали достаточно людей.

Чарльз, разумеется, думал совсем о другом. Он догадывался, что увольнение Сары связано с ее прогулками по террасам, и, разумеется, испугался, что ее могли видеть там с ним. От страшного волнения он не находил себе места. Нужно было немедленно выяснить, что известно в городе о причине ее увольнения. Атмосфера этой маленькой гостиной внезапно вызвала у него приступ клаустрофобии. Он должен остаться один. Он должен подумать, что делать. Если Сара еще жива,— хотя кто может сказать, на какое безумство она могла решиться в приступе отчаяния этой ночью, пока он спокойно спал в эксетерской гостинице? — но если она

еще дышит, он догадывался, где она, и словно тяжелой пеленой его окутало сознание того, что во всем Лайме только он один это знает. Но не смеет ни с кем этим знанием поделиться.

Через несколько минут он уже спускался к гостинице «Белый Лев». Было тепло, но облачно. Сырой воздух лениво гладил пальцами щеки. В горах и в его сердце собиралась гроза.

25

О юноша, что ты вздыхаешь о ней?
Не быть ей вовеки твоею.

А. Теннисон. Мод (1855)

Чарльз намеревался тотчас же отправить Сэма с запиской к доктору. По дороге в голове его мелькали фразы вроде: «Миссис Трэнтер глубоко озабочена...», «Если потребуется вознаграждение для тех, кого пошлют на поиски... или еще лучше: «Если я могу оказать денежную или иную помощь...» Войдя в гостиницу, он попросил немого конюха извлечь Сэма из пивной и послать его наверх. Но в номере его ожидало третье потрясение этого богатого событиями дня.

На круглом столе лежала записка, запечатанная черным воском. Незнакомым почерком было написано: «Мистеру Смитсону в гостинице «Белый Лев». Он развернул сложенный лист. На нем не было ни обращения, ни подписи.

«Прошу вас повидаться со мной еще один последний раз. Я буду ждать сегодня днем и завтра утром. Если вы не придете, я больше никогда не стану вас беспокоить».

Чарльз перечитал записку дважды, трижды, затем устремил взор в темноту. Он пришел в ярость от того, что она так небрежно подвергает опасности его репутацию; почувствовал облегчение, убедившись, что она еще жива; и его снова возмутила угроза, содержащаяся в последней фразе. В комнату вошел Сэм, вытирая рот платком и прозрачно намекая, что ему помешали ужинать. Но так как обед его состоял всего лишь из бутылки имбирного пива и трех черствых лепешек с тмином, он вполне заслуживал прощения. Он сразу заметил, что расположение духа его хозяина отнюдь не лучше, чем было с тех пор, как они выехали из Винзигтта.

— Сходи вниз и узнай, от кого эта записка.

— Слушаюсь, мистер Чарльз.

Сэм вышел, но не успел он спуститься и на шесть ступенек, как Чарльз подбежал к двери и крикнул ему вслед:

— И спроси, кто ее принес.

— Слушаюсь, мистер Чарльз.

Хозяин вернулся к себе в комнату, и перед ним на миг возникло видение доисторического катаклизма, запечатленного в обломке голубого леаса, который он принес Эрнестине,— аммониты, погибшие в каком-то пересохшем водоеме, микрокатастрофа, разразившаяся девяносто миллионов лет назад. В этом внезапном прозрении, подобном вспышке черной молнии, ему открылось, что все живое развивается по параллельным линиям, что эволюция — не восхождение к совершенству

по вертикали, а движение по горизонтали. Время — великое заблуждение; существование лишено истории, оно всегда только сейчас, и существовать — значит снова и снова попадать в какую-то дьявольскую машину. Все эти разукрашенные ширмы, возведенные человеком с целью отгородиться от действительности — история, религия, долг, положение в обществе, — все это иллюзии, не более как фантазии курильщика опиума.

Сэм тем временем привел конюха, с которым Чарльз только что разговаривал. Записку принес мальчик. Сегодня в десять часов утра. Конюх знает его в лицо, а как зовут, не знает. Нет, он не говорил, кто его послал. Чарльз досадливо отправил его обратно и так же досадливо спросил Сэма, на что тот уставился.

— Ни на что я не уставился, мистер Чарльз.

— Ладно. Вели подать мне ужин. Все равно что.

— Слушаюсь, мистер Чарльз.

— И пусть меня больше не тревожат. Постели мне постель.

Сэм отправился в спальню рядом с гостиной, а Чарльз остановился у окна. Он посмотрел вниз и в свете, падавшем из окон гостиницы, увидел мальчика, который выбежал с дальнего конца улицы, пересек булыжную мостовую у него под окном и скрылся из виду. Чарльз чуть не открыл фрамугу и не окликнул его, настолько он был уверен, что это снова тот же посланец. Его охватило лихорадочное волнение. Прошло довольно много времени, и он подумал, что, наверное, ошибся. Сэм вышел из спальни и направился к двери. Но тут раздался стук. Сэм отворил дверь.

Это был конюх; на лице его застыла идиотская улыбка человека, уверенного, что на этот раз он поступил так, как надо. В руках он держал записку.

— Это тот самый мальчик, сэр. Я его спросил, сэр. Он говорит, что та самая женщина, что и давеча, сэр, да только он не знает, как ее звать. Мы все ее зовем...

— Да, да, знаю. Давай сюда записку.

Сэм взял записку и передал ее Чарльзу, однако с оттенком дерзости и бесстрастной пронизательности под маской раболепия. Махнув рукой конюху, он незаметно ему подмигнул, и конюх удалился. Сэм хотел было последовать за ним, но Чарльз приказал ему остаться. Он помолчал в поисках достаточно приличного и правдоподобного объяснения.

— Сэм, я принял участие в судьбе одной несчастной женщины. Я хотел... то есть, хочу держать это в тайне от миссис Трэнтер. Понял?

— Как не понять, мистер Чарльз.

— Я надеюсь определить ее на место, более соответствующее... ее способностям. Потом я, конечно, расскажу все миссис Трэнтер. Это будет маленький сюрприз. В знак благодарности за ее гостеприимство. Она очень за нее беспокоится.

Сэм встал в позу, которую Чарльз про себя называл «Сэм — лакей», изобразив глубочайшее почтение и готовность выполнить любое приказание своего господина. Она была настолько чужда истинному характеру Сэма, что Чарльз был вынужден, заикаясь, продолжить свою речь.

— Вот почему — хотя это совсем не важно — ты не должен никому об этом рассказывать.

— Конечно, нет, мистер Чарльз, — отвечал Сэм с возмущенным видом приходского священника, которого обвиняют в пристрастии к картам.

Чарльз отвернулся к окну, нечаянно поймал обращенный на него взгляд, главный эффект коего состоял в том, что Сэм надул губы, словно хотел присвистнуть, и в придачу еще кивнул, а когда за слугою закрылась дверь, раскрыл вторую записку.

«Je vous ai attendu toute la journée. Je vous prie — une femme à genoux vous supplie de l'aider dans son désespoir. Je passerai la nuit en prières pour votre venue. Je serai dès l'aube à la petite grange près de la mer atteinte par le premier sentier à gauche après la ferme»¹

Очевидно, за отсутствием воска записку эту не запечатали, почему она и была составлена на скверном французском языке, каким обыкновенно изъясняются гувернантки. Она была написана, вернее, нацарапана карандашом, словно сочинялась наспех у дверей первой попавшейся хижины на террасах, — Чарльз был уверен, что Сара прячется именно там. Мальчик, вероятно, сын какого-нибудь рыбака на Коббе — тропинка с террас спускается прямо к молу, позволяя обойти город стороной. Но какое это безумие, какой риск!

И французский язык! Варгенн!

Чарльз раздраженно смял листок. Далекая вспышка молнии возвестила приближение грозы, и, взглянув на окно, он увидел, как по стеклу медленно растекаются первые тяжелые капли. Он подумал о том, где она может быть сейчас; представил себе, как она, промокшая до костей, бежит сквозь дождь и грозу, и это видение на миг отвлекло его от страшной тревоги и страха за себя. Однако это уж слишком! После такого дня!

Я злоупотребляю восклицательными знаками. Но когда Чарльз шагал взад-вперед по комнате, в мозгу его вспыхивали мысли, реакции, реакции на реакции. Он заставил себя остановиться у окна, посмотрел на Брод-стрит и тотчас вспомнил слова Сары о боярышнике, который гуляет по улице. Стремительно обернувшись, он сжал руками виски, затем вошел в спальню и посмотрел на себя в зеркало.

Однако он слишком хорошо знал, что это не сон. Я должен что-то предпринять, я должен действовать, твердил он себе. Он рассердился на себя за слабость, его охватила безумная решимость совершить какой-нибудь поступок, доказать, что он — не просто аммонит, выброшенный на берег волной, что он способен разогнать сгустившиеся над ним черные тучи. Он должен с кем-нибудь поговорить, должен открыть свою душу.

Он воротился в гостиную, потянул за тонкую цепочку, свисавшую с канделябра, и когда зеленоватый огонек газа разгорелся ярким белым пламенем, изо всех сил дернул сонетку у дверей. На звонок явился старый лакей, и Чарльз приказал ему немедленно принести четверть пинты лучшего «кобблера», какой только найдется

¹ «Я вас ждала целый день. Я вас прошу — женщина на коленях умоляет вас помочь в ее отчаянном положении. Я проведу ночь в молитвах, чтобы вы пришли. Я буду с рассвета в маленьком сарае у моря, куда ведет первая тропинка слева от фермы» (фр.).

в «Белом Льве». Эта бархатистая смесь коньяка с хересом заставила не одного викторианца перейти границы дозволенного.

Пять минут спустя Сэм с подносом в руках застыл от изумления посреди лестницы — навстречу ему спускался подозрительно раздумавшийся хозяин в плаще с капюшоном. Остановившись на ступеньку выше Сэма, он сорвал с подноса салфетку, покрывавшую бульон и баранину с вареным картофелем, после чего, не проронив ни слова, пошел вниз.

— Мистер Чарльз!

— Ешь сам!

И хозяин удалился — в отличие от слуги, который остался стоять на месте, выпятив языком левую щеку и уставившись негодующим взором в перила.

26

Спор и суд не спасут: все основано тут
На старинных поместных нравах.
Льюис Керролл. Охота на Снарка (1876)

Мэри поистине заставила нашего юного кокни призадуматься. Как всякий нормальный молодой человек, он любил ее самое, но любил еще и за роль, которую она играла в его мечтах, — ничуть не похожую на ту, какую играют девушки в мечтах молодых людей нашего лишенного запретов и воображения века. Чаще всего она виделась ему за прилавком магазина мужской галантереи. Ее соблазнительное личико, словно магнит, притягивает к себе знатных покупателей со всего Лондона. На улице у дверей лавки черным-черно от их цилиндров, оглушительно стучат колеса их фаэтонов и кабриолетов. Из волшебного самовара, кран которого открывает Мэри, льется бесконечная струя перчаток, шарфов, галстуков, шляп, гамаш, модных полуботинок и воротничков всевозможных фасонов: «пиккадилли», «шекспир», «вождь», «собачий ошейник» — Сэм был буквально помешан на воротничках, я даже думаю, что это был некий фетиш, ибо ему мерещилось, как Мэри надевает их на свою белую шейку перед каждым восхищенным герцогом и лордом. В продолжение этой очаровательной сцены Сэм сидит у кассы, принимая ответный зрлотой дождь.

Он прекрасно знал, что это всего лишь мечта. Но Мэри, если можно так выразиться, подчеркивала это обстоятельство, более того, заостряла гнусные черты демона, который так нагло стоял на пути к осуществлению этой мечты. Его имя? Отсутствие наличных. Быть может, именно на этого вездесущего врага рода человеческого Сэм и смотрел в гостиной своего хозяина, где он уютно устроился, и — предварительно убедившись, что Чарльз благополучно скрылся из виду в нижней части Брод-стрит и еще раз таинственно надув губы, — смаковал свой второй ужин: ложки две супа, самые лакомые кусочки баранины. Ибо Сэм обладал всеми задатками светского фата — кроме финансовых. Но теперь он вновь уставился в пространство, минуя взглядом поднятую вилку с куском баранины, сдобренной каперсами, и совершенно позабыв об ее чарах.

Слово *mail* (которым я позволю себе пополнить ваш запас бесполезной информации) — древнеанглийское заимствование из древненорвежского языка, занесенное к нам викингами. Первоначально оно означало «речь», но поскольку викинги занимались этим женским делом лишь в тех случаях, когда требовали чего-нибудь, угрожая топором, оно стало означать «налог» или «уплата дани». Один клан викингов двинулся на юг и основал мафию на Сицилии, тогда как другой (к тому времени *mail* уже писалось *mail*) занялся собственным защитным racketом на шотландской границе. Тот, кто дорожил своим урожаем или честью своей дочери, платил дань главарю ближайшей бандитской шайки, и с течением драгоценного времени жертвы переименовали *mail* в *black mail* — «шантаж», «вымогательство» (буквально: «черная дань»).

Если Сэм не вдавался в этимологические изыскания, ему, конечно, пришло в голову значение этого слова, ибо он тотчас сообразил, кто такая «несчастливая женщина». Увольнение Подруги французского лейтенанта было слишком лакомым кусочком, чтобы его за этот день не обсосал весь Лайм, и Сэм уже слышал разговор на эту тему, когда сидел в пивной за своим прерванным первым ужином. Он знал, кто такая Сара, потому что о ней однажды упомянула Мэри. Он также знал своего хозяина и его обычное поведение; тот был явно не в себе, он что-то задумал, он пошел куда угодно, только не в дом миссис Трэнтер. Сэм положил вилку с куском баранины и принялся постукивать себя по носу — жест, хорошо известный на ньюмаркетском ринге, когда жокей чувствует, что вместо скаковой лошади ему хотят подсунуть какую-нибудь дохлую крысу. Боюсь, что крысой на этот раз был Сэм, а чуял он, что корабль его идет ко дну.

Винзяттские слуги отлично понимали, в чем дело, — дядя решил насолить племяннику. С присущим крестьянам понятием о свойствах рачительного хозяина, они презирали Чарльза за то, что он редко ездит к дяде, короче говоря, не умаживает сэра Роберта на каждом шагу. Слуги в те времена считались чем-то вроде мебели, и хозяева порою забывали, что у них имеются мозги и уши, а потому некоторые шероховатости в отношениях между стариком и его наследником не прошли незамеченными и вызвали всякие кривотолки. И хотя служанки помоложе склонны были жалеть красавчика Чарльза, люди более мудрые заняли позицию муравья, критически взвешивающего на кузнечика и довольного постигшим его справедливым возмездием. Они всю жизнь трудились в поте лица и теперь торжествовали, видя, что Чарльз наказан за свою лень.

К тому же миссис Томкинс, которая, как подозревала Эрнестина, была в большой степени буржуазной авантюристкой, просто из кожи вон лезла, стараясь снискать расположение экономки и дворецкого, и эта достопочтенная парочка начертала свое *imprium*¹ или *ducatur in matrimonium*² на пухлой экспансивной вдовушке, которая, в довершение всего, когда ей показали давно заброшенные комнаты в вышеупомянутом восточном флигеле, заметила экономке, что из них

¹ Разрешается печатать (лат.).

² Разрешается вступить в брак (лат.).

получится великолепная детская. Правда, у миссис Томкинс было трое детей – сын и две дочери от первого брака, но, по мнению экономки, коим она любезно поделилась с мистером Бенсоном, дворецким, миссис Томкинс наверняка рассчитывает на прибавление семейства.

— А вдруг родятся дочки, миссис Троттер?

— Не такой она человек, мистер Бенсон. Помяните мое слово, не такой она человек.

Дворецкий допил с блюдечка чай и изрек:

— И не скупится на чаевые.

В отличие от Чарльза, который, как член семьи, и в мыслях не имел давать кому-нибудь на чай.

Все эти пересуды в общих чертах дошли до Сэма, пока он ожидал Чарльза в людской. Сами по себе мало приятные, они были тем более неприятны для него, ибо ему, как слуге кузнечика, пришлось принять на себя часть общего осуждения, и все это в какой-то степени было связано еще и со второй тетивой, которую Сэм всегда держал в запасе для своего лука, с мечтой *faute de mieux*¹, в которой он видел себя исполняющим в Винзиэте ту высокую должность, какую сейчас исполнял мистер Бенсон. Он даже мимоходом заронил это семя в голову Мэри, и оно — стоило ему лишь пожелать — несомненно, дало бы ростки. Грустно было видеть, как этот нежный сеянец, пусть даже и не самый любимый, так грубо вырывают с корнем.

Когда они уезжали из Винзиэтта, Чарльз не сказал Сэму ни слова, так что официально Сэм ничего не знал о том, что надежды его хозяина сильно омрачились. Но сильно омрачившаяся физиономия Чарльза говорила сама за себя.

А теперь еще и это.

Сэм наконец принялся за остывшую баранину, разжевал ее и проглотил, и все это время глаза его пристально всматривались в будущее.

Объяснение Чарльза с дядей не было бурным, так как оба чувствовали себя виноватыми — дядя в том, что он делает сейчас, а племянник в том, чего он не делал в прошлом. Новость, которую сэр Роберт преподнес Чарльзу, хотя и без обвиняков, но стыдливо отводя глаза, того как громом поразила, но он тотчас взял себя в руки и с натянутой учтивостью произнес:

— Я могу только поздравить вас и пожелать вам счастья, сэр.

Дядя, появившийся в гостиной вскоре после того как мы оставили там Чарльза, отвернулся к окну, словно ища поддержки у своих зеленых лугов. Он вкратце изложил историю своей любви. Его сначала отвергли — это было три недели назад. Но он не из тех, кто поджигает хвост при первой неудаче. Он различил в голосе дамы нерешительные нотки. На прошлой неделе он сел в поезд, поехал в Лондон, снова «пустился галопом» и победоносно взял барьер.

— Она опять сказала «нет»; Чарльз, но она заплакала. И тут я понял, что моя взяла.

Для окончательного «да» потребовалось, очевидно, еще дня два или три.

— А потом, мой мальчик, я понял, что должен повидаться с тобой. Ты первый, кому следует об этом рассказать.

Тут Чарльз вспомнил жалостливый взгляд старой миссис Хокинс — весь Винзиэтт давным-давно все знает. Несколько несвязное изложение дядей его любовной саги дало Чарльзу время прийти в себя. Он чувствовал себя таким побитым и униженным, словно у него отняли часть жизни. Оставалось только одно — сохранить спокойствие, изобразить стойка и не пускать на сцену разъяренного мальчишку.

— Я ценю вашу деликатность, дядя.

— Ты вполне можешь назвать меня влюбленным старым ослом. Большая часть соседей так и сделает.

— Поздний выбор часто бывает самым удачным.

— Она очень энергичная женщина, Чарльз. Не то что эти ваши чертовы новомодные жеманницы.

«Уж не намек ли это на Эрнестину?» — подумал Чарльз и не ошибся, хотя сэр Роберт сказал это без всякой задней мысли и как ни в чем не бывало продолжал:

— Она говорит то, что думает. Нынче кое-кто считает, что такая женщина непременно пройдоха. Но она совсем не пройдоха. — Он обратился к помощи своего парка. — Она пряма, как породистый вяз.

— Я ни минуты не думал, что она может быть иной.

Тут дядя бросил на него пронизательный взгляд — подобно тому как Сэм разыгрывал перед Чарльзом покорного слугу, так Чарльз иногда разыгрывал перед стариком почтительного племянника.

Лучше б ты рассердился, чем изображал из себя... — сэр Роберт хотел сказать «холодную рыбу», но вместо этого подошел к племяннику и обнял его за плечи. Чтобы оправдать свое решение, он пытался разозлиться на Чарльза, но привык вести честную игру и понимал, что это слабое оправдание. — Чарльз, черт побери, Чарльз... я должен тебе сказать... Это меняет твои виды на будущее. Хотя в моем возрасте, бог его знает... — перед этой «живой изгородью со рвом» он все же спасовал. — Но если это все-таки случится, Чарльз, я хочу, чтоб ты знал — к чему бы ни привела моя женитьба, ты не останешься без средств. Я не могу отдать тебе маленький домик, но я настаиваю, чтобы ты считал его своим до конца твоей жизни. Пусть это будет моим свадебным подарком вам с Эрнестиной — включая, разумеется, все расходы на его починку.

Это чрезвычайно великодушно с вашей стороны. Но мы уже почти решили обосноваться в Белгравии, как только истечет срок аренды.

Да, да, но у вас должна быть загородная вилла. Я не допущу, чтобы это дело встало между нами. Я завтра же откажусь от женитьбы, если...

Чарльз через силу улыбнулся.

Бог знает, что вы говорите. Вы могли жениться много лет назад.

Очень может быть. Однако я не женился.

Он порывисто подошел к стене и выровнял висевшую криво картину. Чарльз молчал; возможно, удар, который нанесла ему эта новость, поразил его не так больно, как

¹ За неимением лучшего (фр.).

дурацкая собственная уверенность, будто он — владелец Винзиэтта, которой он упивался по дороге в имение. Старому черту следовало бы написать. Но старый черт счел бы это трусостью. Он отвернулся от картины.

— Чарльз, ты еще молод, ты полжизни провел в путешествиях. Ты не знаешь, как бывает дьявольски одиноко, тоскливо, я даже не могу это выразить, но иногда мне кажется, что лучше умереть.

— Я понятия не имел... — пробормотал Чарльз.

— Нет, нет, я вовсе не хочу в чем-то тебя обвинять. У тебя своя жизнь. — Однако он, как многие бездетные мужчины, втайне винил Чарльза за то, что он не был таким, какими ему представлялись все сыновья, послушным и любящим до такой степени, какую десять минут настоящего отцовства заставили бы его счесть сентиментальной мечтой. — И все равно, есть многое, что может дать человеку только женщина. Возьмем старые портьеры в этой комнате. Ты заметил? Миссис Томкинс как-то назвала их мрачными. И, черт побери, только слепой мог этого не видеть! Вот это-то и делает женщина. Заставляет тебя увидеть то, что у тебя под носом.

Чарльза так и подмывало сказать, что очки могли бы выполнить эту задачу с гораздо меньшими затратами, но он лишь согласно склонил голову. Сэр Роберт с гордостью показал на новые портьеры.

— Ну, как они тебе нравятся?

Тут Чарльзу пришлось улыбнуться. Эстетические воззрения его дяди столь долго ограничивались предметами вроде высоты лошадиной холки или превосходства Джо Мэнтонна над всеми прочими известными в истории оружейными мастерами, что этот вопрос прозвучал так, как если бы убийца поинтересовался его мнением о каком-нибудь детском стишке.

— Они гораздо лучше.

— То-то. Все так говорят.

Чарльз закусил губу.

— А когда вы познакомите меня с вашей невестой?

— Да, я как раз собирался тебе сказать. Она мечтает с тобой познакомиться. И, Чарльз, она чрезвычайно озабочена... м-м-м... как бы это выразить?

— Ухудшением моих видов на будущее?

— Вот-вот. На прошлой неделе она призналась, что в первый раз отказала мне именно по этой причине.

Чарльз понял, что это следует рассматривать как похвалу миссис Томкинс и изобразил вежливое изумление.

— Но я уверил ее, что ты сделал блестящую партию. А также, что ты лоймешь и одобришь выбор спутницы... последних лет моей жизни.

— Но вы не ответили на мой вопрос, дядя.

Сэр Роберт несколько смутился.

Она поехала в Йоркшир навестить родственников. Она в родстве с семейством Добени.

Вот как.

Я еду туда завтра.

— Ну что ж.

И я считал, что мы должны поговорить как мужчина с женщиной и покончить с этим делом раз и навсегда. Но она мечтает с тобой познакомиться. —

Дядя заколебался, потом со смехотворной застенчивостью вынул из кармана медальон. — Это ее подарок.

Чарльз взглянул на обрамленный золотом и толстыми пальцами дяди миниатюрный портрет миссис Беллы Томкинс. Она выглядела неприятно молодой; твердо сжатые губы, самоуверенный взгляд — довольно привлекательная особа, даже с точки зрения Чарльза. Станным образом она отдаленно напоминала Сару, и охватившее его чувство унижения и потери приобрело еще какой-то неуловимый оттенок. Сара была женщиной совершенно неопытной, миссис Томкинс — женщиной светской, но обе, каждая по-своему — и тут дядя был прав, — разительно отличались от великого чопорного племени обыкновенных женщин. На какой-то миг ему показалось, будто он генерал во главе слабой армии, созерцающий сильно укрепленные позиции противника, и он слишком ясно представил себе, к чему приведет конфронтация Эрнестины с будущей леди Смитсон. К полному разгрому.

Я вижу еще больше оснований вас поздравить.

— Она замечательная женщина. Изумительная женщина. Такую стоит ждать. — Дядя ткнул Чарльза в бок. — Ты мне еще позавидуешь. Вот увидишь.

Он с любовью взглянул на медальон, благоговейно его защелкнул и спрятал обратно в карман. И как бы желая нейтрализовать свою слабость, поспешно повел Чарльза на конюшню полюбоваться новой племенной кобылой, которую только что приобрел «на сотню гиней дешевле ее настоящей цены» и которая хотя он этого и не сознавал представлялась ему совершенно точным конским эквивалентом его другого последнего приобретения.

Оба были английскими джентльменами, и потому оба старательно уклонялись от дальнейшего обсуждения — если не от дальнейшего упоминания (ибо сэр Роберт был слишком упоен своей удачей, чтобы поминутно к ней не возвращаться) — предмета, занимавшего главное место в мыслях обоих. Однако Чарльз настаивал, что должен сегодня же вернуться в Лайм к своей невесте, и дядя, который в прежние времена погрузился бы в мрачное уныние от столь низкого дезертирства, теперь особенно не возражал. Чарльз обещал поговорить с Эрнестиной насчет маленького домика и при первой возможности привезти ее познакомиться со второй будущей новобрачной. Но все добрые напутствия и теплые рукопожатия не могли скрыть чувство облегчения, с которым дядя его проводил.

Гордость поддерживала Чарльза те три или четыре часа, что он провел у дяди, но обратный путь его был очень грустным. Все эти лужайки, пастбища, изгороди, живописные рожи, казалось, уплывали у него между пальцев по мере того, как они медленно проплывали перед его глазами. Он чувствовал, что никогда больше не захочет видеть Винзиэтт. Лазурное утреннее небо теперь затянулось перистыми облаками — предвестниками грозы, которую мы уже слышали в Лайме, и сам он тоже вскоре погрузился в ледяную атмосферу унылого самоанализа.

Последний был в немалой степени направлен против Эрнестины. Чарльз знал, что дядя отнюдь не пришел в восторг от ее лондонских повадок и почти полного

отсутствия интереса к сельской жизни. Человеку, который посвятил столько времени выведению племенного скота, она должна была показаться весьма жалким пополнением чистопородного стада Смитсонов. И потом, дядю и племянника всегда привязывало друг к другу то, что оба были холостяками. Вполне вероятно, что счастье Чарльза в какой-то мере открыло глаза сэру Роберту — если можно ему, то почему нельзя мне? В Эрнестине дядя одобрял только одно — ее солидное приданое. Но именно оно-то и позволило ему с легким сердцем лишить Чарльза наследства.

Главное, однако, заключалось в том, что теперь Эрнестина приобретала перед ним весьма неприятное преимущество. Доход от отцовского имения всегда покрывал его расходы, но этот капитал он не приумножил. Как будущий владелец Винзиэтта, он мог считать себя в финансовом отношении равным своей невесте, как

простой рантье — он попадал к ней в финансовую зависимость. Это совсем не улыбалось Чарльзу, который был гораздо шепетильнее большинства молодых людей своего возраста и класса. Для них охота за богатыми наследницами (а к этому времени доллары начали цениться не ниже, чем фунты стерлингов) была таким же благородным занятием, как охота на лисиц или азартные игры. Быть может, дело обстояло так: он жалел себя, но знал, что лишь немногие способны его понять. Ему было бы даже легче, если бы какие-нибудь обстоятельства еще усугубили дядину несправедливость — например, если бы он, Чарльз, проводил больше времени в Винзиэтте или если б он вообще никогда не встретил Эрнестину...

Однако именно Эрнестина и необходимость еще раз сохранять присутствие духа главным образом и избавили его от отчаяния в этот день.

(Окончание в следующем номере.)

ПРИМЕЧАНИЯ

С. 1. *Лайм-Риджис* (от лат. *regis* — королевский, то есть город, получивший в средние века королевскую хартию о привилегиях) — городок в графстве Дорсетшир на берегу Лаймского залива. К началу XVIII в. Лайм-Риджис превратился в курортное местечко. Джон Фаулз, житель Лайма и почетный хранитель лаймского музея-заповедника, — знаток местной истории, географии и топографии.

Пирей гавань, расположенная в 10 км от Афин.

С. 2. *Армада* — испанский военный флот, в 1588 г. посланный королем Филиппом II против Англии и потерпевший поражение от англичан.

Монмут Джеймс (1649—1685) — внебрачный сын английского короля Карла II. В 1685 г., провозгласив себя законным королем Англии, прибыл из Голландии в Лайм-Риджис и возглавил восстание против короля Якова II, но потерпел поражение, был схвачен и казнен.

Генри Мур (1898—1986) знаменитый английский скульптор.

С. 3. *Оолит* — осадочная порода, обычно известняк. Полуостров Портленд в графстве Дорсетшир славится своими каменоломнями.

Некоторые эпизоды романа английской писательницы *Джейн Остин* (1775—1817) происходят в Лайме.

С. 4. *Чартисты* — участники первого массового, политически оформленного революционного движения английского рабочего класса 30—50-х гг. XIX в.

С. 5. Первый том «Капитала» К. Маркса вышел в сентябре 1867 г.

Кромлехи и менгиры — ритуальные каменные сооружения кельтов, населявших в древности Британские острова.

Олмек (Уильям Макколл) — основатель и владелец известного в Лондоне в XVIII—XIX вв. клуба и игорного дома.

★ *Баккара* — азартная карточная игра.

Железнодорожный бум — спекуляция акциями и земельными участками, сопровождавшая широкое строительство железных дорог в Англии в 30—40-е гг. XIX в.

«*Тридцать девять статей*» — свод догматов официальной английской церкви, введенный королевским указом и утвержденный парламентом в 1571 г.

Оксфордское движение — направление в англиканской церкви, выступавшее за возврат к католицизму, но без слияния с римско-католической церковью. Возникло в 1830-е гг. в Оксфордском университете. Один из его руководителей, священник Джон Генри Ньюмен (1801—1890) автор религиозных «Трактатов на злобу дня» (отсюда второе название движения — трактарианство), позже перешел в католичество и в 1879 г. был возведен в сан кардинала.

С. 6. *Белгравия, Кенсингтон* — аристократические районы Лондона.

Гладстон Уильям Юарт (1809—1898) — английский государственный деятель. Начав политическую карьеру в качестве консерватора, впоследствии стал лидером либералов (виггов).

Маколей Томас Бабингтон (1800—1859) английский историк, публицист, политический деятель, автор пятитомной «Истории Англии» (1849—1861).

Лайель Чарльз (1797—1875) выдающийся английский естествоиспытатель, разработавший учение о медленном и непрерывном изменении земной поверхности и эволюционном развитии человека.

Дизраэли Бенджамин, лорд Биконсфилд (1804—1881) английский государственный деятель и писатель. Лидер и идеолог консервативной партии (тори). Вначале был либералом.

С. 7 *Регентство* период правления (1811—1820) принца-регента, будущего короля Георга IV. Стиль эпохи Регентства — неоклассический стиль в архитектуре и мебели.

Стигийский — мрачный, адский (от названия реки Стикс, в греческой мифологии окружавшей подземное царство мертвых).

Название дома подчеркивает аристократические претензии его владелицы: Мальборо-хаус здание, построенное в Лондоне в начале XVIII в. для государственного деятеля и полководца герцога Мальборо (1650—1722); долго служило королевской резиденцией.

С. 8. В протестантской англиканской церкви существуют два направления: Низкая церковь, тяготеющая к протестантизму в его пуританском виде, и Высокая церковь, сторонники которой придерживаются догматов, близких к католицизму, и католический форм богослужения с пышным ритуалом, курением фимиамом и т. п.

Артур Уэлсли, герцог Веллингтонский (1769—1852) — английский полководец и государственный деятель; после разгрома Наполеона в битве при Ватерлоо (1815) стал национальным героем.

Десятина — приношение десятой части дохода в пользу церкви.

Притча о лепте вдовицы — евангельская легенда о бедной вдове, пожертвовавшей в сокровищницу иерусалимского храма все свое достояние — две мелкие монеты (лепты).

С. 9. Магдалинские приюты (по имени раскаявшейся библейской грешницы Марии Магдалины) — благотворительные заведения для падших женщин, желающих вернуться к честному труду.

Физ (псевдоним Хэлбота Найта Брауна, 1815—1882) и Джон Лич (1817—1864) — известные английские художники-иллюстраторы.

Бекки Шарп — героиня романа У Теккерея «Ярмарка тщеславия», безнравственная, эгоистичная интриганка.

С. 10. Принни — фамильярное прозвище принца-регента, известного своим распутством, легкомыслием и ленью.

...невозможность обедать в пять часов... — поздний обед в XIX в. считался признаком аристократизма.

Харли-стрит — улица в Лондоне, где находятся приемные самых знаменитых врачей.

...день, когда Гитлер вторгся в Польшу... — то есть 1 сентября 1939 г.

Лондонский сезон — светский сезон (май — июль), когда в Лондоне находятся королевский двор и высший свет.

Статуя Лаокоона — знаменитая античная скульптура, изображающая троянского героя, жреца Аполлона; он пытался помешать троянцам втащить в город деревянного коня, в котором греки спрятали своих воинов. Боги, предрешившие гибель Трои, послали двух огромных змей; они задушили Лаокоона и его сыновей.

С. 11. ...прибежище молитвы бессловесной... — цитата из «In Memoriam» («В память») Альфреда Теннисона (1809—1892) — прославленного поэта викторианской эпохи. Этот цикл стихотворений написан в 1833—1850 гг. в память друга поэта, Артура Хэллема.

Афоризм, приписываемый автором немецкому историку Генриху фон Трайчке (1834—1896), в действительности принадлежит немецкому химику Юстусу Либиху (1803—1873).

Добрый самарянин — евангельская притча о путнике, которого ограбили и ранили разбойники. Его спас добрый самарянин (иносказательно — сострадательный человек, готовый помочь ближнему в беде).

С. 12. Патмос — один из Спорадских островов в Эгейском море, куда древние римляне сослали апостола Иоанна Богослова.

С. 13. «День гнева» — начало латинского гимна о Страшном суде.

Мак-Люэн Герберт Маршалл (1911—1980) — канадский философ, социолог и публицист. Смена исторических эпох, по Мак-Люэну, определяется развитием средств связи и общения. Наша эпоха является эпохой радио и телевидения,

сменивших печать и книгу.

С. 14. Марсель Пруст (1871—1922) — знаменитый французский романист, изображавший внутреннюю жизнь человека как «поток сознания».

Кокни — прозвище уроженцев лондонского Ист-Энда, промышленного и портового района к востоку от Сити; так же называют лондонское просторечие, отличающееся особым произношением.

С. 15. Сэм Уэллер — слуга мистера Пиквика из романа Ч. Диккенса «Посмертные записки Пиквикского клуба» (1836—1837).

Красавчик Браммел прозвище Джорджа Брайна Браммела (1778—1840), друга принца-регента, известного в Лондоне щеголя и фата.

Термин «сноб» был введен У Теккереем («Книга снобов», 1848) для обозначения людей, которые пресмыкаются перед высшими и презирают низших.

С. 16. Мэри Эннинг (1799—1847) — жительница Лайма, занимавшаяся поисками окаменелостей. Ее многочисленные находки (в том числе скелеты плезиозавра и птерозавра) внесли существенный вклад в палеонтологию.

Аммониты — вымершие беспозвоночные животные класса головоногих моллюсков.

С. 17. Бедкер Карл (1801—1859) — известный немецкий составитель и издатель путеводителей.

Линней Карл (1707—1778) — шведский естествоиспытатель, создавший систему классификации растительного и животного мира. Был противником идеи исторического развития органического мира и считал, что число видов остается постоянным и неизменным с момента их сотворения Богом.

С. 18. Шервуд Мэри Марта (1775—1851) — английская писательница, автор книг для детей и юношества.

Поль и Виргиния — имена детей заимствованы из сентиментального романа французского писателя Бернарда де Сен-Пьера «Поль и Виргиния» (1787).

С. 19. Эксетер (в графстве Девоншир) — один из древнейших городов Англии, известный готическим собором XII—XIV вв.

Дрейк Френсис — знаменитый английский мореплаватель XVI в., герой многих легенд.

С. 20. Бертольд Брехт (1898—1956) — немецкий писатель, драматург и театральный деятель, создатель теории «эпического театра», предусматривающей так называемый «эффект отчуждения»: прием, с помощью которого драматург и режиссер показывают явления жизни не в их привычном виде, а как бы со стороны.

С. 24. Боттичелли Сандро (1444—1510) — итальянский живописец, представитель флорентийского Возрождения.

Ронсар Пьер де (1524—1585) — французский поэт эпохи Возрождения.

Руссо Жан-Жак (1712—1778) — французский мыслитель и писатель, один из представителей французского Просвещения XVIII в. Противопоставлял «естественного человека», живущего на лоне природы, развращенному цивилизацией современному человеку.

С. 26. Бритва Оккама — принцип, выдвинутый английским философом-схоластом XIV в. Уильямом Оккамом: понятия, не сводимые к интуитивному знанию и не поддающиеся проверке в опыте, следует исключить из науки.

С. 28. Брабазон, Вавасур, Вир де Вир — старинные английские аристократические фамилии.

Мейфэр — фешенебельный западный район Лондона; в переносном смысле — светское общество.

С. 29. *Остенде* — морской курорт в Бельгии.

С. 30. *Иеремия* — библейский пророк, обличавший языческое нечестие и пороки своего времени.

Методисты — члены одной из англиканских церквей, требующие неукоснительного методического соблюдения церковных заповедей. Так первоначально называли членов религиозного общества, основанного в 1729 г. братьями Джоном и Чарльзом Уэсли и другими преподавателями Оксфордского университета, отстаивавшими «живую практическую веру».

С. 31. *Содом и Гоморра* — согласно библейской легенде, города в древней Палестине, которые за грехи и разврат жителей были разрушены огненным дождем и землетрясением.

Огораживание — захват крупными землевладельцами общинных земель (XV—XIX вв.), закрепленный рядом актов британского парламента и приведший к разорению свободных крестьян.

С. 32. *Миксоматоз* — острое вирусное заболевание кроликов, занесенное в Европу в 1952 г.

«*Долина спящих красавиц*» (1966) — роман американской писательницы Жаклин Сьюзен, героини которого, представительницы шоу-бизнеса, принимают в огромном количестве снотворные препараты.

Кольридж Сэмюэль Тейлор (1778—1834) — английский поэт-романтик. Одно из его произведений, неоконченный фрагмент «Кубла Хан» (1798), представляет собой видение, вызванное, по свидетельству автора, действием лауданума (тинктуры опия).

Иероним ван Акен Босх (ок. 1450—1516) — нидерландский живописец, известный гротескным изображением человеческих уродств и пороков.

Объективный коррелят — согласование эмоционального начала с объективным отражением конкретной психологической ситуации — понятие, заимствованное из эстетики англо-американского поэта и критика Томаса Стернза Элиота (1888—1965).

С. 33. *...ходить стезями добродетели...* — цитата из официального молитвенника англиканской церкви.

Ален Роб-Грийе (р. 1922) — французский писатель, один основоположников так называемого «нового романа».

Ролан Барт (1915—1980) — видный французский литературный критик-структуралист.

Транспортировка — переложение музыкального произведения из одной тональности в другую.

С. 34. *Алеаторика* — вид современной композиторской техники, предоставляющей жребию или вкусу исполнителя определять последовательность (и ряд других элементов) звучаний, заданных композитором.

С. 35. *Перикл* (ок. 490—429 гг. до н. э.) — вождем афинской демократии, выдающийся оратор.

С. 36. *Входная молитва* — церковная песнь, начинающая богослужение.

С. 39. *Девушка Марианна*. — Имеется в виду возлюбленная героя английских баллад Робина Гуда.

Каролина Нортон (1808—1877) — английская поэтесса и романистка.

«*Эдинбургское обозрение*» — ежеквартальный литературно-публицистический журнал либерального направления (1812—1929).

Шеридан Ричард Бринсли (1751—1816) — знаменитый английский драматург и государственный деятель.

Мельбурн Уильям Лэм (1779—1848) — английский государственный деятель.

Флоренс Найтингейл (1820—1910) — английская сестра милосердия; во время Крымской войны работала в госпиталях, которые часто посещала ночью, за что и получила прозвище «леди с лампой».

С. 40. *Джон Стюарт Милль* (1806—1873) — английский философ, экономист и общественный деятель.

«*Панч*» — лондонский сатирический еженедельник, основанный в 1841 г.

С. 41. *...в царствование короля Эдуарда...* — то есть в 1901—1910 гг.

Девушка Гибсона — тип мужественной, энергичной и самоуверенной девушки, созданный американским графиком Чарльзом Дейна Гибсоном (1867—1945).

Лафатер Иоганн Каспар (1741—1801) — швейцарский ученый, богослов и философ. В своей «Физиономике» (1772—1778) разработал так называемую френологию, теорию о связи психических свойств человека с внешностью.

Супер-эго — «сверх-я» — термин основоположника психоанализа Зигмунда Фрейда (1856—1939). В сознательном «я» происходит борьба биологических влечений и установок общества; «сверх-я» представляет последние.

Детерминизм — философское учение об объективной закономерной взаимосвязи и взаимообусловленности явлений материального и духовного мира.

Бихевиоризм — ведущее направление в американской психологии конца XIX — начала XX в., сводящее психические явления к сумме реакций организма на стимулы (от англ. behaviour — поведение).

С. 42. *Вавилонская блудница* — согласно библейской легенде, женщина, облаченная в порфиру и багряницу и являвшаяся на звере багряном; иносказательно — проститутка.

...ворвался в такие пределы, куда... ангелы не смеют даже ступить... — видоизмененная цитата из дидактической поэмы английского поэта Александра Поупа «Опыт о критике» (1711).

С. 43. *Бат и Челтнем* — известные английские курорты.

С. 44. *Рамадан* — девятый месяц мусульманского календаря, когда ежедневно от зари до заката солнца соблюдается пост.

С. 45. *Сэвен-Дайелз* — район лондонских трущоб.

Илоты — в древней Спарте земледельцы, находившиеся на положении рабов.

С. 47. *Морея* — полуостров на юге Греции, в древности Пелопоннес.

С. 48. *Ферула* — линейка или розга, использовавшаяся для наказания детей в школах.

С. 49. *Калипсо* — в греческой мифологии нимфа, владычица острова, на котором она семь лет держала в плену Одиссея; иносказательно — коварная соблазнительница.

С. 51. *Гофман* Эрнст Теодор Амадей (1776—1827) — немецкий писатель-романтик, автор фантастических рассказов.

С. 52. *Принц-консорт* — титул мужа королевы Виктории Альберта (1819—1861).

С. 53. *Нереиды* — в греческой мифологии нимфы моря, дочери бога Нерея.

Грегори Джеймс (1638—1675) — шотландский математик, изобретатель отражательного телескопа.

Бентам Иеремия (1748—1832) — английский юрист и философ, родоначальник утилитаризма.

Падди — презрительная кличка ирландцев (уменьш. от Патрик).

С. 53. *Первый Билль о реформе* (1832) лишил представительства в парламенте часть «гнилых местечек» и несколько расширил избирательное право жителей сельской местности; рабочие права голоса не получили.

...доктор... был... обломком августинианского гуманизма... — имеется в виду период английского просвещения XVIII в., который принято называть «августинианским» по аналогии с золотым веком классической римской литературы и искусства эпохи правления императора Августа (27 г. до н. э. — 14 г. н. э.)

Бёрк Эдмунд (1729 — 1797) — английский государственный деятель, философ и публицист. Был противником французской революции XVIII в., но выступал за сохранение конституционных свобод, независимость парламента от короля, отмену работорговли и т. п.

Мэтью Арнольд (1822—1888) — английский поэт и критик. Выступил с критикой мифа о «викторианском процветании», показав, что господство буржуазии привело к засилью филистерства, падению культуры и деградации личности.

Неоонтология — наука, изучающая живые организмы (палеонтология изучает ископаемые организмы).

С. 54. *Хартман Филипп Карл* (1773 — 1830) — немецкий врач-психиатр.

Филлотс Генри (1778—1869) приобрел печальную известность пренебрежением своими обязанностями и присвоением церковных средств.

С. 55. *Джордж Морланд* (1763—1804) — английский художник, автор жанровых сцен из крестьянского быта.

Биркет Фостер (1825—1899) — английский художник; писал пейзажи, сцены из деревенской жизни, иллюстрировал детские книги.

Бюффон Жорж Луи Леклерк (1707— 1788) — французский естествоиспытатель; в области геологии выдвинул теорию развития земного шара.

Ашер Джеймс (1581 — 1656) — ирландский священник, автор библейской хронологии.

Официальная английская Библия — английский перевод Библии, одобренный в 1611 г. королем Яковом I (известен также как «авторизованная версия» или «Библия короля Якова»).

«Основы геологии»... совпали с реформами в других областях... — Имеется в виду первый Билль о реформе, запрещение труда детей моложе девяти лет и ограничение рабочего дня остальных (1833), отмена рабства в колониях (1834), муниципальные реформы (1835) и др.

С. 56. *Госсе Филип Генри* (1810—1888) — английский зоолог.

Фундаментализм — крайнее консервативное направление в протестантизме, отвергающее любую критику священного писания.

Карбонарии — члены тайных революционных обществ начала XIX в. в Италии и Франции.

С. 61. *Клаустрофилия* — боязнь открытого пространства, незапертого помещения.

Прерафаэлиты — группа английских художников и литераторов во главе с живописцем и поэтом Данте Габриэлем Россетти (1828 — 1882), Джоном Эвереттом Милле (1829—1896) и др., возникшая в 1848 г. как протест против условности современного академического искусства и выдвигавшая в качестве идеала творчество художников средневековья и раннего Возрождения (до Рафаэля).

Форд Мэдокс Браун (1821 — 1893) — английский художник, близкий к прерафаэлитам.

Констебль Джон (1776—1837) и *Пальмер Сэмюэль* (1805—1881) — английские художники-пейзажисты.

Телемская обитель «антимонастырь», утопический идеал свободного общества, созданный Франсуа Рабле в романе «Гаргантюа и Пантагрюэль» (1533—1534).

Авила — город-крепость в Испании, окруженный старинными стенами и башнями.

С. 66. ...эпохи Тюдоров... — стиль архитектуры и мебели эпохи английских королей династии Тюдоров (конец XV — начало XVI в.).

Клод Лоррен (Клод Желле, 1600—1682) — французский живописец.

Тинторетто (Якопо Робусти, 1518—1594) — итальянский живописец венецианской школы.

...особняк елизаветинских времен... — стиль времени правления королевы Елизаветы I (1558—1603) — архитектура английского Возрождения.

С. 67. «Хрустальный дворец» — огромное здание из стекла и металлических конструкций, построенное в 1851 г. в лондонском Гайд-парке для всемирной выставки; ныне не существует.

Бавкида — в классической мифологии добрая старушка, которая вместе со своим мужем, фригийцем Филемоном, была вознаграждена Зевсом за радушие и гостеприимство.

Рамильи — местечко в Бельгии, где англичане под командованием герцога Мальборо в 1706 г. победили французов в Войне за испанское наследство.

С. 68. *Палладио* Адреа (1508—1580) — итальянский архитектор и теоретик архитектуры эпохи позднего Возрождения.

Уайэтт Мэтью Дигби (1820—1877) — второстепенный английский архитектор.

С. 70. *Клаустрофобия* — боязнь замкнутого пространства.

С. 72. *Викинги* — выходцы из скандинавских племен (данов, датчан, норвежцев, шведов), совершавшие в VIII—XI вв. грабительские захватнические походы в страны Европы.

Ньюмаркет — город в графстве Саффолк, известный своим ипподромом; ринг — место, где продают скаковых лошадей.

«Кузнечик и муравей» — басня французского поэта XVII в. Жана Лафонтена.

С. 74. *Джо* (Джозей) *Мэнтон* (1766—1835) — известный английский оружейный мастер.

Джон Фаулз

ПОДРУГА ФРАНЦУЗСКОГО ЛЕЙТЕНАНТА

РОМАН

Учредители: ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ «РОМАН-ГАЗЕТЫ»
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ПЕЧАТИ
СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

Редактор *Н. Колосовская*
Художественный редактор *М. А. Моисеев*
Технический редактор *В. Нефедова*
Корректоры *М. Миримская, С. Кашина*

© Иллюстрации художника *Б. Косильникова*

Сдано в набор 06.12.90. Подписано в печать 30.01.91. Формат 84×108¹/₁₆. Бумага газетная. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 8,4. Усл. кр.-отт. 9,66. Уч.-изд. л. 12,69. Тираж 2 886 000 экз. (1-й завод: 1 — 2 386 000). Заказ 2420. Цена 1 р. 10 к.

Адрес редакции: 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Ордена Трудового Красного Знамени Чеховский полиграфический комбинат Государственного комитета СССР по печати. 142300, г. Чехов Московской обл.

Рукописи ранее не опубликованных произведений редакцией не принимаются и не рассматриваются.

Во всех случаях полиграфического брака просим бракованные экземпляры отсылать для замены в типографию, где печатался данный экземпляр.

Уважаемые товарищи!

С этого года подписка на «Роман-газету» проводится на год, полугодие и поквартально. Стоимость подписки не изменилась. Цена одного номера 1 р. 10 к.

ПЛАН ВЫПУСКА «РОМАН-ГАЗЕТЫ» НА 1991 ГОД:

II квартал

- 7—8. УСПЕНСКИЙ В. Тайный советник вождя. Роман. Кн. 1—2-я.
- 9. БЕЛОВ В. Год великого перелома. Роман.
- 10. СОЛОУХИН В. Смех за левым плечом.
- 11—12. КАРПОВ В. Маршал Жуков, его соратники и противники в годы войны и мира. Литературная мозаика.

III квартал

- 13—14. БАЛАШОВ Д. Отречение. Роман.
- 15. СБОРНИК ФАНТАСТИКИ. Произведения зарубежных авторов.
- 16. ПОВЕСТИ. Быков В. «Облава» и другие.
- 17—18. ВОЛКОГОНОВ Д. Триумф и трагедия. Кн. 2-я.

IV квартал

- 19—20. АЛЕКСЕЕВ С. Крамола. Роман. Кн. 2-я.
- 21. КАИПБЕРГЕНОВ Т. Каракалпак-намэ. Роман-эссе.
- 22—24. СОЛЖЕНИЦЫН А. Август Четырнадцатого. Роман (1-я часть публикации).

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

ВАЛЕРИЙ ГАНИЧЕВ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Сергей АЛЕКСЕЕВ, Юрий БОНДАРЕВ, Семен БОРЗУНОВ, Витаутас БУБНИС, Олег Волков, Геннадий ГОЦ, Юрий ГРИБОВ, Владимир ГУСЕВ, Владимир ДУДИНЦЕВ, Александр ЖУКОВ (ответственный секретарь), Сергей ЗАЛЫГИН, Феликс КУЗНЕЦОВ, Леонид ЛЕОНОВ, Виктор МЕНЬШИКОВ (заместитель главного редактора), Василий НОВИКОВ, Петр ПРОСКУРИН, Валентин РАСПУТИН, Леонид ФРОЛОВ

1 р. 10 к.

70782

РОМАН-5 ГАЗЕТА

